АЛЕКСАНДРА БЕДЕНОК

Памяти моей исток

Александра Беденок

Памяти моей исток

«Издательские решения»

Беденок А.

Памяти моей исток / А. Беденок — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-901694-2

Книга Александры Беденок о жизни послевоенных хуторов 50—60 годов. Все события реальны. Вниманию читателей предлагаются собственные жизненные истории, наполненные народной мудростью, трагизмом и искрометным деревенским юмором.

ISBN 978-5-44-901694-2

© Беденок А.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1. 6
Писаренки 6
Сёстры 24
Жердевы 37
Глава 2. 48
Квартиранты 48
Беглянка 51
Галюня и дед 55
Как дед лебёдушку ловил 57
Житейские перевёртыши 59
Конец ознакомительного фрагмента. 61

Памяти моей исток

Александра Беденок

© Александра Беденок, 2017

ISBN 978-5-4490-1694-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1.
Истоки

Писаренки

Есть люди, остающиеся в памяти потомков надолго. В русском языке существует выражение: не по хорошему мил, а по милому хорош. Вторая половина фразы относится к моему деду. Пусть даже в рассказе о нём есть частицы горькой правды о его неуравновешенной жизни, о нередких проявлениях жестокости и чёрствости по отношению к ближним, о ссорах, возникающих в семье по его вине, и т. д. Но в душе этого человека жила всепобеждающая доброта, идущая в ногу с раскаянием. Ему не присущи были самодовольство и индюшечья надменность. Когда он говорил о детях или общался с ними, то сам становился сущим ребёнком, простым, весёлым и необычайно трогательным. Мужики, как правило, любили рассказывать о своих «подвигах», смелых поступках и способности предвидеть будущее. Заканчивались умные речи примерно так: «А я вам ЧТО говорил? Я вам так сразу и сказал… А я предупреждал вас…»

У Кузьмича не было в запасе таких выражений. Мужикам и бабам нравились его бесхитростные рассказы о том, как он попал впросак.

– Кузьмич, ну расскажи, как ты рыбу ловил. – Та как… Моя Дунька до сих пор не найдёт вторых кальсон. И куда делись? Говорю ей – может, тёлка сжевала, когда ты повесила бельё сушить? Сожрала же она твою батистовую кофту… – Так от кофты хоть кусок с прищепкой на верёвке остался. А тут прямо с пуговицами и прищепками проглотила и не удавилась.

– Тай може, помнишь, сено кончилось, а нова трава ще ны выросла, она и заморила червячка… И дед в очередной раз всем на удовольствие неспешно описывал своё приключение. Встал до света, думаю, бабка пока управится по хозяйству, а я уже тут со свежей рыбкой: на, маты, жарь. Рыбалка как-то сразу не заладилась, клёва не было, а тут ещё крючок за корягу зацепился. Ну что делать? Надо лезть в воду. Разделся до кальсон и пошлёпал по муляке к верхушке бревна. Вода холоднющая, аж ноги начало судорогой сводить. Нашёл зацепку не так быстро, когда зубы уже выбивали мелкую дробь. Вышел на берег, стал стаскивать с себя мокрые сподники, думаю, переоденусь в сухое. И тут слышу, бабы разговаривают, идут на утреннюю дойку. Мигом схватил сухие штаны, оставив на земле комком сложившиеся исподние, и побежал голяком за ближние кусты. Стою. Приостановились молодицы, о чём-то тихо поговорили и ушли. Думаю, хоть бы удочка осталась целой, а то ж народ какой, приберёт к рукам

всё, что плохо лежит. Самодельное удилище так и осталось на месте, от него уходила в воду белеющая леска. Слава богу, всё на месте. Всё, да не всё. Кальсон-то нет. Во, заразы, и на мокрые позарились. Чтоб вам руки поотсыхали за чужое добро. Не бежать же за ними следом – отдайте штаны… Пока Дунька выгоняла корову, тишком-нишком вытащил из сундука сложенные выстиранные исподние, быстро натянул на себя и предстал перед женою, как невинное дитя. – Где тебя черти с ранья носят? – неласково встретила крайне возбуждённая половина. – О, да в уборной был, ты же знаешь, желудок у меня чётко работает.

– Ты что ж там колхозную верёвку тянул? – Колхозную не колхозную, а посидеть подумать с утра для здоровья не лишнее.

После перепалки пошли завтракать, и как-то быстро утихомирилась баба. Недели через две опять потянуло на пруд, и поскольку удивить ранним уловом вряд ли получится, решил доложиться, что пошёл немного порыбачить. Пришёл, когда солнце уже вовсю разыгралось, по воде озабоченно сновали утки, добывая себе пропитание: одни внезапно сдёргивались с места, вытянув шею в погоне за мошкарой и комарами, другие ловко ныряли в воду, на момент выставив вверх дрожащий хвост и чисто вымытые лапки. Совсем рядом с берегом плавало что-то надутое бугром, покрытое илом и зелёной тиной. Самая верхушка, с пятак, высохла, и на ней, дрожа сине-зелёными крыльями, сидела стрекоза. И что это могло быть? Кузьмич, взяв удилище, подцепил диковинный бугорок, нарушив отдых хорошо устроившейся стрекозы, и стал медленно подтягивать к себе. Вытащил на сухое место, брезгливо стал расправлять палкой скользкую тряпку, которая вскоре приобрела форму штанов. Та ты глянь! Не мои ли это кальсоны? Точно мои: верхняя пуговка на поясе была коричневая и весело блестела на солнце – нашёл-таки нас хозяин! Ат, стервозный народ, эти бабы, не могут жить, чтобы кому-нибудь не напакостить. Догадывался он, кто среди проходивших доярок был зачинщиком злой шутки над сидевшим в кустах рыбаком. Сама ж, зараза, не раз прибегала на это место на ранней зорьке, и «порыбачить» успевала и чтоб на дойку не опоздать. Поскольку зимнего лова на хуторе не было, Кузьмич за долгие три-четыре месяца охладел к своей утренней гостье, место которой заняла другая пассия: живёт через хату, мужика нет и дров некому нарубить. Придёт она, бывало, к Дуне, слезно просит: «Ну пусть кто-нибудь из твоих мужиков поможет, остались одни сучковатые пеньки, никак мне с ними не справиться. Две недели бурьяном да соломой топлю, а толку нет – вылетает всё тепло в трубу, по хате ветер гуляет» Неохотно кивнув головой, сердобольная Ёсыповна соглашалась. Кем-нибудь оказывался Кузьмич, не пойдёт же сын-подросток рубить дрова рыжей Натахе. Это ж только говорят «рыжая», на самом деле волосы у неё были ярко-красного цвета с медным отливом, а лицо покрыто бурыми конопухами. Такие на селе считались людьми второго сорта. Но Натаха на первый сорт и не претендовала, тихо жила с большеротой шестилетней дочерью, ни к чему не приученной и непослушной. В колхозе Натаха не значилась, а подрабатывала по людям: полола огороды, месила ногами глину, мазала сараи – в общем, кому что надо по хозяйству. Но вот что она хорошо умела делать, так это вязать: носки, варежки, платки. Кузьмич жалел всеми презираемую хрипатую соседку; нарубив дров, обогревал не только убогую хатёнку, но и саму хозяйку. Та в благодарность связала ему тёплые, толстые носки из овечьей шерсти на прочном десятом номере ниток, чтоб не протирались и дольше носились. Принёс дед домой плату за труды, небрежно кинул на кровать: – Вот заработал, Натаха связала.

– А чё ж ты, старый хряк, не рассказываешь, чем ещё она с тобой расплачивается?

Пропустив мимо ушей вопрос дурной бабы, Кузьмич спокойно ответил: «Ну ты ж вязать не умеешь. Потому что руки не оттуда растут.»

И пошло, и поехало. Однако перепалка длилась недолго. Осиповна давно смирилась с дедовыми похождениями, языком, конечно, молола, но зла долго не держала. Через неделю она уже носила носки, подаренные очередной дедовой сучкой. Ногам было тепло, и душа окончательно смирилась – с паршивой овцы хоть шерсти клок. Натаха же, чувствуя вину перед

Осиповной, старалась хоть чем-то угодить ей. Сама не приходила – передавала подношения дедом. Однажды летом он принёс от неё вареники с вишнями, большие, величиной с ладонь.

– Глянь, мать, каких варенико́в наварила Натаха: штук три – и губы втры (вытри). Попробуй – ха-рошие! – Да ешь ты их сам, кобель колхозный.

– Тю-ю-ю, дура набитая, женщина к тебе со всей душой, а ты ещё носом крутишь. Дуня недолго крутила носом: как только кобель ушёл к роднику за водой, она уселась за стол и стала за обе щёки уплетать Натахины «лапти», только косточки вишнёвые одна за другой цокали о железную чашку. Видно, Пушкин хорошо знал женскую психологию, когда писал о Людмиле, попавшей в плен к страшному волшебнику Черномору. «Не буду есть, не стану слушать. Подумала – и стала кушать.» Кузьмич был не по-деревенски чистый мужик. Его место за столом располагалось возле окна, на котором стояло старинное овальное зеркало, красиво отороченное по краям. Хлебнув ложку-другую, он поглядывал на себя в зеркало, чистый ли рот, не висит ли что на губах. Небритого заросшего деда никто не видел, щетины на щеках и подбородке как таковой не водилось, – так, жиденькая поросль, которую он ежедневно выщипывал пинцетом. Лицо после «бритья» тщательно смазывал свежим сливочным маслом или сметаной. И, надо правду сказать, после такой косметики морщины почти не селились на лице семидесятилетнего мужика. К тому же бог наградил его карими с крапинками глазами. Взгляд был внимательный, полный добра и ласки. Брюхатых мужиков не любил: распустил пузо, как свинья поросная. Бородатых тоже не жаловал: за бородой надо следить, а не вшей там разводить; сам видел, как у деда Шиша это отвратительное насекомое купырхалось в чёрных волосах. Тьфу, черти б тебя забрали вместе с твоей бородой! Поверх рубахи навыпуск талию поджарого деда всегда перетягивал кавказский ремешок со всякими висюльками. Они глухо позвякивали, когда дед танцевал. А танцор он был необычный: руки в боки чуть ниже пояса, легко подпрыгивал, часто перебирая ногами. Грудь выпяченная, плечи ходуном ходят. Боже упаси, если кто из домочадцев шёл согнувшись! «А ну распрямись и голову подними, шо, потеряв кошелёк да никак не найдёшь?». Не терпел Кузьмич в доме человеческой распущенности, связанной с плохой работой кишечника. Такое не прощалось даже детям.

– Вы что, в свинушнике живёте? Выйди сейчас же во двор, проветрись и дверь оставь открытой, – не унимался дед.

Мужики, прослышав о ненависти Писаренка к испорченному воздуху, устраивали на конюшне спектакль. Кто-либо, почувствовав гул в животе, тихонько подсаживался к деревенскому чистоплюю и вдруг – шарах! Во всеуслышание! Под общий гогот мужиков Кузьмич, сменившись в лице, резко поднимался и, обложив шутника по матушке, уходил.

– Шоб тебе, боров проклятый, ж… попрыщило, – бурчал он по дороге. Нашли смешное, ржут, как жеребцы стоялые. Хорошо, если дома уже все спали. Тогда он, неслышно прикрыв дверь, выходил на порожки хаты, усаживался, доставал кисет с махоркой, неспешно скручивал цигарку и курил, курил, пока не успокаивался.

– Батько, чё ты не ложишься, поздно уже, – участливо спрашивала Дуня.

Ох, эта Евдокия… Любовь давно прошла, в памяти осталась лишь внешность далёкой молодости: стройная рыжеволосая казачка, одетая по крестьянской мерке богато и красиво. В семье она была единственной дочерью среди трёх братьев, жила белой горлинкой «промежду сизых простых голубей», никакой работой не обременённая, избалованная всеобщим вниманием и заботой. Старший брат, Василий Зенец, уже присматривал для сестры жениха, чтоб не из бедных был и обязательно казачьего рода, как и многочисленные Зенцы в станице.

Два брата работали в обширном подворье по хозяйству вместе с отцом. Была своя кузня, которой заправлял Васька. Его так и звали в станице – Зенец-кузнец. Для работ в поле брали людей со стороны, в основном пришлых мужиков. В сенокос требовалось много народу, сезонная работа хорошо оплачивалась. Так в косарях у Зенцов появился Иван Писаренко, семья которого года два как обосновалась в Подгорной. Вот и приглянулся хозяйской дочери куд-

рявый Ваня. И стала она по вечерам тайком бегать на свидание к певуну и танцору, на которого поглядывала не одна девка. Прослышав про связь сестры с нанятым работником, Василий решил поймать пару на гульках и проучить слишком смелого ухажёра. ГолубкИ сидели на бревне, Ваня что-то рассказывал, Дуня тихо посмеивалась. На сестру цыкнул, чтоб шла домой, а Ивана оставил для душевного разговора.

Дуня со страхом ждала появления брата, уже перевалило за полночь, а его всё не было. И вдруг она услышала тихий, вперемешку со смехом разговор двух людей, по голосу узнала брата и Ваню. Господи, спаси и помилуй, всё обошлось по-мирному. Думала, забьёт до смерти ухажёра здоровенный братка, у него же кулаки с кувалду. Наконец цокнула калитка, и Василь спокойно прошёл мимо согнувшейся на завалинке сестры; открывая дверь в хату, буркнул: «Иди спать, страдалица, завтра обо всём поговорим».

Убедить родителей в выборе дочери было трудно, но Василь умел договариваться с отцом. К матери мало кто прислушивался, потому как, к стыду казачьей семьи, любила она выпить. В широкой длинной, расширенной книзу полипольке без застёжек изнутри был пришит карман того же цвета, что и подкладка. В нём-то и хранилась плоская бутылочка с самогоном. Свернёт, бывало, в сторонку от идущих в церковь баб, приподнимет к голове край полипольки, клок-клок из бутылочки – и пошла догонять попутчиц. В церкви народу много, время от времени надо было глубоко кланяться, а разморенная горячительным Зенчиха, уже плохо стоявшая на ногах, не удержавшись, ткнулась головой в чью-то спину. Женщины зло шикали на неё, а усердная богомолка, потеряв опору, плюхнулась на пол. Услышав возню, недопустимую правилами поведения в церкви, подошёл служка, помог подняться несчастной с пола и, тихо уговаривая, повёл к выходу.

– Побойся бога, женщина, грех в таком виде приходить в храм. – Эт в каком таком виде? Ты меня что, поил? Или видал, как я пила? – шла в наступление пьяная баба, протягивая растопыренную пятерню к жидкой бородёнке дьячка.

Тот поспешно отошёл в сторону и кликнул церковного сторожа, чтобы он проводил больную женщину до ворот. Если бутылочка уже была пустой, то по преодолению не столь короткого расстояния от церкви голова Зенчихи становилась почти не затуманенной, а то и совсем светлой, как стёклышко, и, уморенная дорогой и долгими церковными бдениями, она ложилась отдыхать. Но как бы собака в клубок ни свернулась, всё равно кончик хвоста где-нибудь виден. По запаху домашние догадывались, что хозяйка дома изрядно приняла на грудь.

Из-за пагубного пристрастия семейные вопросы привыкли разрешать без её участия. Добившись согласия отца на замужество сестры, Василь, ставший настоящим товарищем будущего зятя, радостно объявил влюблённым голубкАм, что можно предстать пред очима родителей, чтобы попросить благословения на брак.

Дуне повезло со свекровью. Мать Вани была тихой верующей женщиной, которая больше, чем бога, боялась своего мужа, сурового сапожника с заячьей губой, прикрытой усами. В гневе он мог запустить колодкой в кого угодно, чаще всего гонял сыновей, по поводу и без повода. Младшего, Ивана, на дух не переносил только потому, что он был ласковым телёнком матери. Как залетевшая в дом птичка билась бессильно в стекло, так неспокойно жила она меж двух огней, избегая скандалов и побоев. Дуня пришла в дом мужа белоручкой, холёная белолицая краля с ухоженными длинными пальцами на руках. Но ни разу не слышала она недовольного голоса свекрови. Посмотрев на неудачно сделанную работу снохи, Пелагея Лукьяновна деликатно предлагала: – А давай, дочка, чуть-чуть подправим.

И обязательно байку подходящую расскажет. «Шо ваша невестка с утра делает? Шье та спивае. А после обеда? Порет да плачет. А мы с тобой, Дуня, плакать не будем, когда же дело будет сделано, то и заспивать можно.» Улыбчивая Дуня соглашалась, быстро усваивала уроки свекрови, так что дважды переделывать не приходилось. Особенно преуспела молодуха

в выпечке хлеба. Вскоре Лукьяновна признала превосходство снохи в этом деле. – Мам, хлеб кончается, надо опару ставить.

– Ой, дочка, у тебя лучше получается, делай сама. И Дуня старалась. До глубокой старости пекла на чирини духмяные караваи, запахом которых заполнялась вся хата. Хлеб не черствел целую неделю, отходов, как у других хозяев, не бывало, всё съедалось до корочки. Старый Кузьма бурчал: мука убавляется слишком быстро, не хватит до нового урожая. Едоков развелось, хоть разгоняй. И разогнал бы, если бы не великое умение Пелагеи сглаживать острые углы. После смерти мужа она не раздумывая пошла доживать в отделившуюся к тому времени семью младшего сына, Ивана. Годам к пятидесяти у неё появился редкий дар лечить людей молитвами: заговаривала раны и нарывы, принимала детей у рожениц. Роддомов тогда не строили, детей рожали всех подряд, и повитуха была нарасхват. Редко к кому бабушка шла пешком, за ней приезжали на бричках, бедарках, увозили и привозили, и не с пустыми руками. Одаривали по-разному: кто платочек ситцевый преподнесёт, а кто и подшальничек, а уж если бабушка получала в подарок выбитую батистовую косынку, радости не было предела: не для себя брала столь дорогую, редкую в бедных семьях вещь – для Дуни, всегда почитаемой невестки. – Ну-ка примерь, дочка, как она смотрится на тебе, – спешила порадовать сноху Лукьяновна. – Ой, да как же она идёт тебе! Носи на здоровье. Деньги давали очень редко, их просто не было у людей. А уж если случалось такое, то тут Лукьяновна не разбрасывалась, держала на чёрный день. Бережливая бабушка придумала способ хранения монеток: перевязывала их спереди на сподней рубахе нитками, да так и спала с ними – спокойно и надёжно. Перед стиркой развязывала, аккуратно складывала накопленные медяки, от которых на рубахе оставались выдавленные круги, по величине и количеству которых можно было сосчитать, сколько у бабушки денег. Подходил Иван, просил как раз столько, сколько насобирала мать. Отдавала все до копейки: надо значит надо.

На печи рядом с бабушкой спал старший внучок в возрасте тринадцати лет. Он-то и присмотрел перевязанные на рубахе кругляшки. Встал пораньше перед школой и, пока старуха мирно похрапывала, срезал ножницами все сбережения. Бедная Лукьяновна, обнаружив на животе огромные дыры в рубахе, онемела от вероломного ограбления средь бела дня. Когда голос к ней вернулся, она запричитала тонко и отчаянно. Перепуганный Иван подбежал к печи, всматриваясь, что такое могло случиться с ней. – Подывысь, сынок, шо твий сукын сын наделал мне! Да боже ж мий боже! Вместо того, чтобы пожалеть и успокоить старуху, Иван расхохотался так, что не мог остановиться. Глаза были мокрые от слёз, держась за живот и согнувшись в поясе, всё рассыпал дробный смех по хате. Наконец, остановившись, принял серьёзный вид и сказал:

– Ладно, пусть он только явится домой, я его проучу. Но тут учуяв, что пахнет жареным, Лукьяновна вмиг успокоилась в страхе за внука. Через час она уже слёзно просила сына: – Ваня, сынок, не трогай ты его, оно ещё дитя неразумное, дурное. Прости его! После обеда явился из школы вор, раскрасневшийся с мороза и пахнущий чем-то вкусным. – Деньги у бабушки ты срЕзал?

– Я.

– Куда подевал?

– В магазин ходил. Купил мятных конфет и напырник (пенал для металлических перьев). – Конфеты остались?

– Не-а. Всё с пацанами съели. – Ну, снимай штаны, сейчас от воровства буду лечить тебя. На печи пронзительно заголосила бабка.

– Проси прощения у бабушки, – смягчился Иван.

Часа два уже сидел Кузьмич на порожках хаты. Картины молодости проплывали перед глазами ясно и зримо, отчётливо слышались голоса и тех, кто ещё жив, и тех, кого уже давно нет. Мать… До конца жизни оставался он для неё светом в оконце. Одному ему она могла пожа-

ловаться на обидчика, лишь он оставался её надеждой и защитой. Настрадавшись от необузданного характера мужа, в старости нашла она успокоение в семье младшего сына. И как он относился к матери, так и все домочадцы – с почитанием и уважением. Что нужно человеку в старости? Забота и любовь ближних. Она это заслуженно получила и этим была счастлива. В благополучную налаженную жизнь ворвался голодный 33-й год. Жили впроголодь, но не опухали, как в других семьях, потому что была корова. Но несчастье, как говорят, даже из-под собственной ноги может выскочить. В морозную январскую ночь не стало кормилицы – украли, неслышно взломав дверь в сарае. Рыжую гавкучую Хрынку осенью сожрали волки, оставив в саду на пожухлой траве лапки да внутренности. Некому было и тявкнуть на воров. Знал весь хутор, что грабители были залётными, видели, к кому приезжали «родычи». Милиционер с обыском явился к тем, на кого указал хозяин похищенной коровы. Долго искать не пришлось: под дощатым полом сарая нашли копыта, рога и шкуру. Братья Омельченковы не выдали налётчиков, видно, боялись. Старший взял вину на себя. Забрали. Получил срок да в тюрьме и загинул: кормить заключённых там и подавно было нечем. Мор на селе наступил такой, что некому было хоронить людей. Через день тащилась по хутору худосочная коняга с бричкой, в которую складывали покойников. Согбенный возница ехал не оглядываясь, и со стороны видели, как из телеги то поднималась, то опускалась чья-то рука, потом, подержавшись за борт, исчезла окончательно.

Хоронили в общей могиле, как на войне. Первой в семье Ивана умерла мать, незаменимая в благополучной жизни бабушка-шептуха, которую долго помнили оставшиеся в живых селяне. Тихо лежала она на печи, не жалуясь, не стеная, только приподнимала голову на голос сына, всматривалась мутнеющими глазами, не принёс ли чего поесть… Так и угасла бабушка, помогшая разродиться не одному десятку женщин на хуторах. Завернул в тонкое одеяло лёгкое иссохшее тело старушки, положил в самодельную тачку и повёз хоронить. Иван доплёлся до кладбища – благо, оно располагалось недалеко; сам вырыл могилу с подкопом сбоку. Глубоких могил тогда не копали – не было сил у изнурённых голодом людей. Из мелких же ям покойников часто вытаскивали бродячие собаки. Никого это не удивляло и не страшило в те пагубные времена. А вот ниша спасёт мать от такой напасти, думал Иван.

Месяца через два от скарлатины умерла шестилетняя Нюра, всеобщая забава в семье. Вспомнилось, как привёз из Армавира своей любимице трикотажную вязаную шапочку с помпоном. Все любовались обновой, хвалили, а она стояла насупившись. Потом стянула с головы и сказала:

– Цэ ны шапка, цэ чУлка (чулок). И больше не надела. Дивились взрослые неожиданным, не по-детски умным вопросам или ответам маленькой разумницы. Как-то Дуня пошла с Нюрой к куме, жившей дворов за пять от них. Из-за сарая выбежала собачонка, радостно виляя хвостом, и кинулась прямо к ребёнку, пытаясь облизать лицо. Нюра в страхе схватилась за материну юбку.

– Не бойся, дочка, собачка не кусается, она только понюхает тебя. – А ты ей скажи, что я не пахну.

Господи, горевал Иван, ну пусть старые умирают, зачем же ты эту кроху забрал, ей бы жить да жить. В поисках не куска хлеба, а хоть какой-то еды разбрелась семья кто куда. Старшая дочь к тому времени вышла замуж за комсомольского работника, имевшего продуктовые льготы. Его сестра, жившая где-то в Средней Азии, присылала посылки с сухарями из смеси отрубей, сои и ещё непонятно чего. И всё-таки это был хлеб. Из других семей немощные люди шли на работу в поле, потому что там варили баланду. Приходила туда, вопреки протесту мужа, и беременная Нина, приносила узелок с харчами: кувшин простокваши и те самые сухарики. Всё отдавала отцу и брату Лёне (так называли на селе того, кто носил имя Алексей). Он ездил на лошади, тягавшей по полю борону, опухшие ноги брёвнами свисали с седла в разрезанных до колен штанинах. Нина дожидалась брата, чтобы отдать ему кисляк. Когда он подъехал,

она протянула ему кувшин, Лёня же, держа одной рукой вожжи и кнут, судорожно схватил другой скользкую посудину – и не удержал: разбился на каменистой почве глиняный кувшин вдребезги, расплескалось по земляным грудкам молоко. Надо было видеть глаза подростка: в них было столько жалости, тоски и страха, что, казалось, хватило бы на весь мир. Совсем рядом вмиг оказался взбешённый отец с кнутом в руках. Хлестанул он Лёню по опухшей ноге, а заодно и лошадь. Перепуганное животное сорвалось с места, от бороны поднялась туча пыли, скрывшая вскоре и седока и лошадь. Так и осталась в глазах Ивана душераздирающая картина: убегающий на лошади Лёня, постепенно растаявший в облаке пыли. Это видение преследовало его всю жизнь, потому что оно оказалось пророческим: Лёня без вести пропал на войне.

Младшего, шестимесячного Колю, отдали в ясли; молоко у голодной матери пропало, а там, говорили, хоть какой-то приварок был. Коля в яслях за короткое время сделался рахитом: большой живот, руки и ноги – жёлтые плети, от постоянного поноса по полу волочилась кишка. Детей домой не забирали, там они жили, там и умирали.

Проходя мимо ясельного двора, Иван увидел молодую няньку, Олецкую, которая в вытянутой руке тащила ребёнка к зарослям репейника. Вдруг до ушей донеслось знакомое низковатое – гу-гу. Господи, да это ж Колькин голос! Запыхавшись от быстрой ходьбы, оказался рядом:

– Куда ж ты, гадина, тащишь его, он же живой!

– Если он вам нужен такой, то заберите, – невозмутимо ответила нехудая деваха, брезгливо опустив на землю облепленное мухами существо. Оттянув низ рубахи, дрожащими руками положил туда живые мощи и принёс домой. Как могли, с Дуней вправили дитю вылезшую кишку, обмыв покрывшееся, как мхом, белёсыми волосами тельце. Размочив в воде сухарик, который приберёг для Дуни, положили в тряпицу, завязали ниткой, получившуюся соску сунули ребёнку в рот. Господи, сосёт, да с какой жадностью! Вскоре родила ребёнка Нина, девочку. Каждый день приходила она к родителям, вроде бы навестить, на самом деле покормить грудью ещё и Колю, то есть брата. Прожив один месяц, умерла новорождённая Клава – младенческим накрыло, как тогда объясняли причину смерти маленького ребёнка. Не было бы счастья, как говорится… Грудное молоко досталось Коле. Оклемался пацанёнок, и никакие хвори к нему не приставали. После изнурительного голода пришёл первый урожайный год. Колхозникам пшеницу ещё не давали, но к отдельным семьям она всё-таки попадала; тайно варили галушки, зАтирку (мелкие катышки теста кидали в кипяток, заправив зажаркой, если таковая была в доме). Кто-то подмешивал пшеничную отрубную муку в кукурузную, хлеб становился не таким тяжёлым и лучше перевариваемым. У Писаренков возможности разжиться пшеницей не было. Правление колхоза решило поддержать в первую очередь ясельных детей и людей на тяжёлых работах – трактористов, животноводов. Стали думать, кому доверить печь пшеничный хлеб. Вспомнили мастерицу по выпечке Евдокию Писаренко. В конюшенной пристройке быстро соорудили печь – печник на хуторе славился своим умением на всю округу. И хотя мастер печных дел носил говорящую фамилию Беда, его умелые руки приносили людям только тепло и радость. В писаренковский двор явился колхозный бригадир.

– Ёсыповна, хлеб пойдёшь печь? Бедная Дуня онемела от такого предложения и лишь часто-часто закивала головой. К концу выпечки хлеба являлся главный конюх, доверенное лицо бригадира, чтобы пЕкарьки не выносили ни хлеба, ни муки. Но кусок теста женщина хоть во рту могла принести домой, находились места и побольше рта. Худо-бедно, но с голоду уже не умрёшь. Со временем нашли другой способ отщипнуть от колхозного каравая. – Петрович, – обратились женщины к бригадиру, когда тот явился в пекарню, чтобы, как он сказал, хлебным духом подышать. – Петрович, дОма топить нечем, разреши здесь хоть чугунок картошки сварить. – И нельзя, конечно, кто знает, что вы понесёте в этом чугуне. – Так старший конюх нас провожает всегда…

– Да бог с вами, варите, другим бы отказал, но вашему хлебу люди не нарадуются.

На то они и бабы, чтобы перехитрить мужиков. На дно чугуна клали изрядный кусок теста, сверху два слоя картошки в мундирах. Всхожесть теста была хорошая, картошка, разварившись, прямо выпирала из чугуна. Горку предусмотрительно отбирали в чашку. – Угощайся, Митрич, – предлагали женщины своему надсмотрщику, отодвинув в сторону чугунок с остальной «картошкой»: не дай бог, заметит бабью хитрость. Люди, обессиленные голодом, продолжали умирать, теперь от прицепившихся болезней. Оставшиеся Писаренки Выжили: две дочери, двое сыновей и сами родители.

Лёня, средний меж детей, рос благополучным сыном: безотказный работник, добрый, благодарный на всю жизнь сестре, спасавшей всех ближних от голода.

В младшем, Николае, природа собрала все пороки, наследственные и приобретённые. По своим способностям он мог стать человеком незаурядным: сам выучился играть на баяне, и играл неплохо, бегал в колхозную кузницу, с интересом наблюдал за работой местного кузнеца – Соколова Омельяна, быстро освоил ковку металла и вскоре мастерил не совсем простые поделки, например, цветок с листьями, солнце с острыми лучами, ну и всякие непристойные вещи на смех мужикам тоже мог. Там же, в кузне, рано пристрастился к спиртному. Целыми днями, а то и ночи прихватывая, пропадал неизвестно где, дома работы никакой не знал. Запала в душу родителям жалость к нему в раннем детстве, когда они чудом спасли его от смерти. Она, эта жалость, парализовала волю отца и матери, не могли они ни отругать непослушное дитя, ни тем более проучить. Воспитанный в добре и постоянной заботе, сам был начисто лишён этих качеств. Казалось, всё хорошее для него сработало с точностью наоборот: стал несговорчивым, лживым и жестоким к тем, кто слабее его. Много позже, когда ненаглядному сынку было лет тринадцать, Нина родила вторую девочку, всеми обожаемую Саню. Подросток возненавидел племянницу, постоянно дразнил и шпынял исподтишка, делал удивлённые глаза, если взрослые спрашивали, почему плачет дитя. Собрав за двором кучу пацанов, объявлял, что сейчас будет концерт. Сжав пальцы на руке острым углом, долбил девчонку по голове и, когда та закатывалась в крике, изображал игру на гармошке, громко припевая: трата-та да трам-бам-були, сидит заяц на цибуле… Это казалось детям очень смешным, и Колька, получив поддержку, старался как мог, пока на крик не выбегала мать. Совсем из другого теста был сотворён Лёня. Уходя в армию, наказывал сестре, ждавшей ребёнка: кто бы ни родился, назови Шуркой. Нравилось ему это имя. Через год, получив отпуск, не расставался с упитанной белокурой девчушкой, сажал на шею и отправлялся погулять. Вскоре возвращался, смеющийся и почти счастливый.

– Посмотри, что она мне наделала!

Повернувшись спиной, показывал мокрую рубаху. Терпеливо ждал, пока сестра переоденет и накормит малышку. И опять – на шею и побежал с прискоком, приговаривая – кабыдык, кабыдык, кабыдык…

Отпуск пролетел быстро. Всей семьёй пешком провожали солдата на станцию в семи километрах от дома. И невозможно было уговорить его снять ребёнка с шеи, нёс до самого вокзала.

Это была последняя встреча Лёни с семьёй. В середине войны почтальонша принесёт печальную весть о без вести пропавшем сыне. Время летит на крыльях, принося с собой и радости, и горести, и, так или иначе, лечит старые раны. Вот и внуки выросли, и правнуки появились. Уже за полночь вошёл Кузьмич в хату, тихо, чтоб никого не разбудить, улёгся на узкий деревянный топчан (кровать на сетке давно осталась в распоряжении Евдокии). Мысли, редко хорошие, больше тяжёлые, лезли в голову, не давая уснуть. 1914 год. Война. Ушёл по призыву, оставив дома жену с двумя малолетними дочками – Ниной и Аксютой. С братом-погодком оказался в одном полку. там же служили несколько казаков с одной станицы.

Полтора года спустя вернулся домой один из станичников, принеся Дуне печальную весть: мужайся, молодица, нет твоего Ивана, сам видел убитого. Погоревали, поплакали,

но жить-то надо. Пришёл как-то Василь, старший брат с разговором. – Не думал, сестра, что мне второй раз придётся устраивать твою жизнь, но такая уж судьба, наверное. Интересуется тобой один человек – да тут все его знают – Крюков. Мужик зажиточный, не пьющий, жена умерла, воспитывает двоих пацанов. Подумай да и соглашайся: у него двое, и у тебя двое, как бы равные в этом деле. Бедствовать уж точно не будешь. Думала долго. через месяц явился сам, видный, красивый мужик, без всяких заскоков. Одно только плохо – чужой. Хоть бы слабенько ёкнуло сердце в груди. Всё ушло вместе с Ваней. Согласилась наперекор сердцу.

Жизнь у Крюкова шла размеренно и правильно: ездили вместе на базар за одеждой детям, одели всех четырёх, никого не обидев, всем угодив. Работала Дуня только по дому, больше по приготовлению еды. Жалел хозяин жену. Даже стирать приглашал одну из нанятых работниц. Да и то правда, управиться с четырьмя детьми – дело не лёгкое.

Прожила она с Крюковым два года спокойно и безбедно.

Однажды сидели на лавочке за двором со старшей Ниной, дожидались из стада коров. Глядь, приближается какой-то мужик, оборанный, неухоженный. Дуня почему-то юркнула во двор, закрыв за собой калитку. Следом забежала и Нина. – беги, дочка, к дяде Васе, он что-то тебе купил. Обогнав старца, девчонка подбежала к зенцовскому двору. Василь сидел возле забора тоже в ожидании стада. Нина уселась к нему на колени, выжидающе заглядывая ему в глаза. – Дядь Вась, видишь, старец идёт, мамка испугалась его и убежала во двор. Василь повернул голову. Поднялся в недоумении и сразу пошёл навстречу. Обнявшись, оба плакали. – Нина, беги домой (тихо: это ж твоя, Ваня, дочка), скажи мамке. пусть сюда придёт. Дуня не заставила себя ждать, чуть ли не бегом прибежала – и бух старцу в ноги. – Прости меня, Ваня, сказали, что тебя нет в живых. Так и не вернулась Евдокия в дом Крюкова. Василь поехал на бричке, забрал скарб полагавшийся недолго прожившей у нового мужа Дуне. Сняли убогое жильё в полуподвале у богатого хозяина, там же и работали в наймах. Но рая в шалаше не получилось. Хотя и родили ещё двоих детей, но, скорее всего, они появились незапланированными. В семье пошёл разлад, все недомолвки, недоразумения сводились к одному – сожительство с Крюковым. И попутал же бес выйти за него при живом муже!

Иван по возвращении рассказал свою историю. Погибшим был старший брат, очень похожий на Ивана, их станице плохо различали, к тому же и разница в возрасте – всего один год. Его-то и видел убитого казак-станичник. После разгрома полка около двух лет старший урядник Писаренко батрачил в польском плену. Присмотревшись, изучив обстановку, бежал с товарищем в Россию. Добирались голодные, оборванные, завшивленные. Питались чем бог послал, приходилось даже милостыню просить – никто оборванцев не брал даже на разовую работу, боялись люди воров и бандитов.

Дошел-таки до родного края! Да не было радости встречи с семьей. Так, смирился, старался приглушить в себе обиду и боль, а они нет-нет, да и вырывались наружу со скандалами, упреками, обвинениями. Вот с тех пор и стало тянуть Ивана на сорону, да и то сказать, бабы к нему сами, как мухи, липли. Видный был мужик, а главное, душевный, разговорчивый, жалел одиноких женщин, не отказывался помочь по хозяйству.

Дуня по характеру была неласковая, просто она родилась правильной: заботилась о детях, исправно вела хозяйство. Уста ее никогда не были медом, напротив, она отличалась от Ивана неким косноязычием, не умела вразумительно выразить мысль, речь ее, вернее, обрывки фраз, пестрела казачьими заковыками, типа «тет что», «ента что ж», и проч. Взяла она, конечно, своим видом: аккуратная, несмотря на хозяйство, с холеными красивыми руками, прямая, не располневшая до глубокой старости.

Вот где они с Иваном сливались в единое целое, так это в песне. Почти не раскрывая рта, выводила Дуня первым голосом, чистым, без всякой охриплости, как это часто бывает у простолюдинов и пожилых людей. Иван всегда начинал песню, которая как у человека эмо-

ционального, вся была у него на лице – грусть ли, разудалая веселость или страдание. Именно в такие редкие минуты они сидели обнявшись, и Ваня не стеснялся при всех приклонить голову к плечу своей половины. Дойдя до жалобных слов, плакал неподдельными слезами.

Провожала маты сына во солдаты, А свою нывистку в поле жито жаты. Вона жала, жала, жала-выжинала Тай посэрэд поля тополыной стала.

Прошло три года, возвращается до дома солдат и задает матери вопрос:

– Ой скажи ты, мамо, що то за прычина, Шо посэрэд поля стоить тополына? Нэ пытай, казаче, нэ пытай прычину, А бэры секиру, рубай тополыну. Одын раз ударыв, вона похылылась, Другый раз ударыв, вона запросылась: «Нэ рубай, казаче, я твоя дружина, Подывыся в лыстя, спыть твоя дытына»

В этой песне от народа жестокость и скорбь, и печаль, и своеобразное, какое-то безыскусственное языческое понимание природы: взрослых, детей, растений. В песне хранится память старославянских названий, ведь первоначальное слово «дружина» обозначало жена.

Выпив лишнюю рюмку, Иван вставал во весь рост и сквозь слезы, с подрагивающими в нервной судороге губами, стенал:

– Сыны мои! Орлы! Простите меня! Буду любить вас до самой смерти!

После такого всплеска эмоций Ивана успокаивали, старались увести в другую комнату и уложить спать. Дуне в эти минуты надо было исчезнуть с глаз, иначе непременно вспомнит он наболевшее, сидящее комком в груди:

– Отойди от меня, крюковская подстилка!

Господи, думала про себя Дуня, да лучше бы мне с детьми и остаться у Крюкова. Но мысли возвращались к реальным событиям, при которых не было бы ей счастья даже с человеком, искренне любившим ее, умевшим создать такую обстановку в доме, чтобы Дуне и ее детям было хорошо. Крюков, как зажиточный хозяин, имевший наемных людей, попал под раскулачивание. Детей отправили в разные детские приюты, самого – куда подальше, в Сибирь. По слухам, не выдержал мужик такой расправы, сошел с ума. Вот и подумай, что сталось бы с ней, с детьми? Тоже в Сибирь?

Время идет. Был Ванечкой, обожаемый матерью. Потом Ваня, для сестры и станичных девчат. Женившись, стал Иваном. Теперь вот Иван Кузьмич, а чаще просто по отчеству, для селян уже дед Писаренко, без всякого имени-отчества.

Душа болела об одной загубленной жизни по его вине.

Напротив, через дорогу, поселилась невесть откда приехавшая женщина лет тридцати пяти, купив хату у одряхлевшей старухи, которую перевезли доживать последние дни к сыну, жившему на краю хутора. Новая хозяйка именовалась Ганна Страшко, это по-правильному, в быту же фамилию быстро переделали на народный лад – Стращиха. На вид она была полной противоположностью своей фамилии – высокая, темноволосая, с черными, пронзительными, немного косящими глазами. Баб такой внешности на селе считали ведьмами. Молока им никто не давал и не продавал – корову сглазит; если во дворе появлялся новорожденный, неважно кто-ребенок или теленок, калитку завязывали веревкой, не дай бог, Стращиха явится. Такие люди на селе – изгои, их обвиняли во всех бедах, ими пугали малолетних детей. Чувствуя неприязнь и настороженность хуторян, дружбу свою она никому не навязывала, числилась в полевой бригаде, но на работу выходила редко, на что жила, непонятно.

Писаренко был мужиком добрым и жалостливым, к тому же неравнодушным к женской красоте. Достала его Ганна своими черными глазами, притянула, как магнитом, и ничего с собой сделать не смог, как ни сопротивлялся разум, – взрослые дети, внуки и, самое главное, живет рядом, не скроешься ни от чужих, ни от своих глаз.

Каких только уловок не придумывал Иван, но Дуня знала: задержался на работе, пошел к мужикам на конюшню, отправился на пруд за рыбой – все брехня, а правда только одна – развлекался со Стращихой. В хате у нее Иван почти не бывал – опасно. Дуня тоже про это знала.

Потеряв всякую осторожность, стал задерживаться до полуночи. Не вынесла жена ночной бессонницы, встала, оделась и позвала в помощницы Нину, девку решительную и бесстрашную. Подошли к хате с улицы, постучали в окошко – тишина. Ломом поддели ветхую раму, она легко подалась и вместе с окном вывалилась наружу. Поставили рядом с зияющим проемом и ушли, довольные тем, что хоть в малой степени насолили проклятой ведьмачке. Улеглись по кроватям как ни в чем ни бывало, а сердце и у матери, и у дочери чуть не выпрыгнет от волнения и страха. Спустя час-полтора явился гулена домой не тихой сапой, не как нашкодивший кот, а гремя посудой и поддевая сапогами все, что попадалось на пути. Ночь лунная, звуки раскатываются далеко, на полсела слышно. Дуня выскользнула во двор, Иван за ней, пытаясь схватить за одежку. И тут неожиданно кто-то – черк! Его поперек груди ломом. И держит. Крепко держит! Порпобовал вывернуться – ни черта! Дуня, почувствовав подмогу, схватила огромный сухой ком глины и шарахнула Ивана в грудь. Спасибо, удар пришелся на лом, боль тупая, но вполне переносимая.

Ах вы, собаки бешеные, это с отцом так поступать? И все ты, сатана старая, дочку настроила. Против кого? Совесть есть у вас?

Бессовестные бабы продолжали держать оборону, да так успешно, что потерпевший уже стоял смирно, не пытаясь вырваться. Во, воспитал и вырастил на свою голову. Ты смотри, какая сильная, дьяволюка!

Ладно, – примирительно сказал Иван, – померились силами – и хватит. Пусти, дочка, я никого не трону, клянусь тебе.

Потихоньку Нина ослабила один конец лома, другой оставляя зажатым в правой руке. Спокойно отошла в сторону. Во, бешеная, еще навернет по спине, с ней станется! Стал молча укладываться на топчане под орешиной. Воительницы прошли мимо, направляясь в хату. Но с ломом! Сроду не ожидал такой прыти! Утром чуть свет подхватилась Дуня, корову надо доить, а главное – понаблюдать как среагируют бабы на провал в Стращихиной хате. Из-за куста бузины осторожно выглянула на улицу. Рамы нет, утащила во двор, лярва раскосая, а окно плотно занавешено в улицы байковым одеялом, видно, гвоздями приколотила. – Чей-то Стращиха окно закрыла, – недоумевали бабы. – Та шоб Пысаренка не видно было., пусть несет, дитя В семье пошел полный разлад, Иван почти не общался со своими рукатыми бабами. Когда уходил, теперь уже никому не докладывал. Осенью Стращиха не стала выходить на работу, прошел слух, что скоро будет рожать.

Дожди уже шли вперемешку со снегом, вокруг стало неуютно и холодно. Хата Ганны стояла продольно к улице, и через неутепленное одинарное окно со склеенными стеклами был слышен постоянный плач ребенка, страдавшего от сырости и холода. – Лето красное пропела, топливом не запаслась, вот и кричит дитя сутками, – не то с осуждением, не то с жалостью переговаривались бабы.

Ганна разродилась девочкой, назвали Таей. Иван стал тихим в семье, глаза изменились, потускнели, куда девалась его воинственность. Нарубив дров, одну охапку откладывал в сторону, знала Дуня, вечером отнесет в хату через дорогу. Да бог с ним, пусть несет, дитя-то причем. С утра долго крутился во дворе, то зайдет, то выйдет из хаты, пересилил-таки себя: – Дунь, дай кружку молока, совсем дите голодное. – Все лето по кущерям лазили, не думали, чем обогревать и кормить дитя будете. – Прости, Дуня, ради невинного младенца прости…

Голос задрожал, в страдании скривились губы, нервно задергался подбородок …Что-то еще хотел сказать, и не смог. Ну что тут поделаешь, как говорится, лежачего не бьют. Так и подкармливали байстрючку всю зиму. А в начале лета заковыляла кривоногая девчушка по травке во дворе: волосы черный, чуть вьющиеся у висков и на затылке, лоб низковатый, как у младшей дочери Аксюты, улыбается, показывая редкие передние зубки.

Ганна все реже показывалась на улице, больше лежала. Не принесли ей здоровья нежеланные роды, все чахла и чахла. Иван метался между двумя семьями, выпрашивал у жены

самое необходимое для ребенка. Денег в семьях не водилось, в колхозе работали за трудодни, за палочки, как говорили в народе (один трудовой день отмечался вертикальной черточкой-палочкой).

Ганна умерла, когда Тае исполнилось шесть лет. Не посмел Иван просить Дуню, чтобы взять в семью девочку. Так она оказалась в детдоме. Лет с двеннадцати Тая начала писать письма отцу, просила взять ее на каникулы. Дуня и гладиться не давалась, а Иван страдал. Пришел к Нине, вышедшей вторичнозамуж, у которой своя дочь, пятиклассница. – Дочка, сжалься, возьми на каникулы Таю, – упрашивал отец, держа в дрожащих руках письмо. – Ну не объест же она вас, пожалей сироту, – начинал плакать.

Нина, вопреки протесту матери, соглашалась. В доме появилась коренастая девчонка, неблшого роста, улыбчивая, добрая, послушная. С Шурой они нашли общий язык, шили кукол цветными шелковыми нитками, с трудом добытыми из большого запутанного комка.

Детский дом в те годы давал детям путевки в жизнь с шестнадцати лет. Ни профессии, ни жилья, в лучшем случае общежитие, если попадешь на хорошее производство. Мало кто удерживался на плаву. Тая незаметно исчезла из жизни чужих ей родственников. Говорили, что кто-то видел ее в поезде в сомнительной компании, плохо одетую, неухоженную, с большим животом. Больше от нее не было никаких вестей.

Вот о чем часто думал Иван, каялся перед богом, просил прощения о загубленной жизни. Чистота и опрятность не покидала Кузьмича до самой глубокой старости. Особенно бережно он относился к обуви. Сапоги всегда отдавали блеском, и если приходилось ходить по грязи – а её в деревне хоть отбавляй, – то умел пройти так,, будто по воздуху пролетел. Остатки грязи не смывал, а аккуратно соскребал обратной, тупой стороной специального ножичка, говорил, что кожа воды не любит.

Под лавкой в сенях хранился у него набор каких-то скребков, лоскутов шерсти – всё для чистки обуви. Когда на голове появились первые седые волосы, всерьёз расстраивался на смех окружающим, долго просиживал у зеркала, выискивая и вырывая ненавистные белые волосины.

Как так? Зачем им там блестеть и портить вид тёмно-русой шевелюры с такими привлекательными завитками?

– Батько, – подначивала Дуня, – да ты так и лысым станешь на радость своим ухажёркам! Это ж ты впереди их видишь, а сзади ты уже давно на сивого мерина похож. Брешет, конечно, Дунька, не может быть, чтоб сзади этой поросли было больше, чем спереди. Но на душе стало неуютно, тоскливо и холодно.

На выходные из города приезжала внучка, уже замужняя, с двумя малолетними детьми. Узнав о страданиях дедушки, пообещала привезти специальную жидкость, которая называлась восстановитель для седых волос. И Кузьмич возрадовался, как ребёнок. – Я и в гробу не хочу лежать седым, – изливал дед своё горе. – Родился чёрным и умереть желаю таким же. Уважь, унуча, не забудь купить то самое, что ты сказала. Я всегда молюсь за тебя, чтоб ты была здоровой и красивой.

Насчёт красоты дед не кривил душой. При появлении Шуры он внимательно осматривал её со всех сторон: – Ага, хорошая, следишь за собой, молодец!

Не дай бог заметит сутулость. – А чё согнулась? Ну-ка выпрямись, голову надо держать гордо, – и показывал, как это надо делать.

Каждая встреча со стариками превращалась в праздник. За неделю-другую в их жизни происходило что-то интересное, чаще смешное. Дед был прекрасным рассказчиком, речь его была складной, выразительной и образной. Излюбленной темой разговора являлась глупость старой Дуни. Слушая его, она не возражала, а только хихикала, как будто и не с ней происходило то, о чём рассказывал дед.

– Пропалываем, значит, вчера с этой (кивнул в сторону жены) кукурузу. Разогнулась, посмотрела на солнце, а пролетавшая птичка ляп ей прямо в глаз – и потекла жёлтенькая струйка по щеке. А она: – Ой, чи дождь идеть? – Идеть, идеть, собирайся домой, а то вся промокнешь.

От восстановителя седых волос дед, к его великому огорчению, чёрным не стал, а так, что-то грязно-серое. Но седины не стало видно. И то хорошо!

Была тогда в ходу хна, ею сама Шура пользовалась, волосы стали пушистыми и блестящими. На седых же волосах от неё получался ярко-огненный, сигнальный цвет. Понимала, деду это не подходит, ибо станет он потехой для всего хутора. И вот появилась в продаже басма, говорили, что она даёт чёрный, как смоль, цвет, как раз то, о чём мечтал Кузьмич.

В душе играла музыка, когда Шура ехала в электричке с тремя пачками басмы: вот радость-то какая для дедушки!

Дед, оживлённый, сидел у печки, курил, пускал дым в поддувало. Внучка деловито хлопотала, приготавливая всё необходимое для окраски. Залила кипятком порошок, как написано было на пачке, получилась кашица непонятного цвета. Это вначале непонятного, думала она, а потом будет чёрным, надо только подержать подольше. Аккуратно, со знанием дела выложила болотную жижу на дедову голову, прикрыв целлофаном, потом плотно закутала большим старым полотенцем. – Прямо як султан турецкий, – хохотнула язвительная дочка Нина, закрывая ладонью рот. Дед заметно волновался, опять присел к печке с цигаркой, часто пускал дым в ожидании радостного момента – увидеть свою голову с чёрными волосами!

Время вышло наконец-то. Дед опустил голову в таз с приготовленной тёплой водой, и Шура начала смывать прилипшие крупинки краски. Но вода почему-то становилась не чёрной, а грязновато-коричневой, волосы же – о господи! – синие, с зеленоватым отливом!

Мать Шуры, увидев обновлённого деда, покатилась со смеху, даже ноги приподняла, сидя на кровати. – Ой, Шурка, да шо ж ты из нашего деда селезня сделала?!

Удручённый парикмахер стоял в недоумении, пыхая в кулак и пожимая плечами. Дед серьёзно посмотрел на себя в зеркало, озабоченно покрутив туда-сюда головой, и весьма спокойно разрядил обстановку: – Ат, не получилось! Но ты, внучка, не переживай. Я фуражку натяну, и какой там чёрт на меня смотреть будет?! А в следующий раз привези чёрной. Полностью скрыть волосы не удалось: на висках предательски вылезали из-под фуражки сине-зелёные завитки, а кучери дед обожал, и состричь их даже в мыслях не было. Достаточно было увидеть лишь одной бабе завитушку утиного цвета, как новость о крашеном деде разнеслась по всему хутору. Писаренко не стал даже корову в стадо выгонять (Дуня как раз прибаливала), чтоб не попадаться на глаза языкатым дурным людям. Нашёл в сарае длинный цыганский цепок, вбил кол в широком прогоне между огородами, и Майке так понравилось пастись одной – трава высокая, сочная, не помятая. В полдень, когда лютовал овод и солнце пекло нещадно, Кузьмич уводил корову в сарай, там было прохладно, темно и мухи не кусают. В общем, худа без добра не бывает: коровка заметно прибавила молочка, появились излишки – маслице, сметанка. Сначала Дуня носила продукты на базар, потом, прослышав о крепком янтарном масле Писаренчихи, люди стали приходить домой, покупали даже те, у кого были свои коровы.

Что басма даёт чёрный цвет только в сочетании с хной, Шура узнала позже, когда синий дед стал уже притчей во языцех. Нина запретила дочери привозить какую-то ни было краску – дескать, хватит вам людей смешить. Тогда Кузьмич изобрёл новый метод окрашивания: соскребал по боковушкам печи сажу, смешивал её со сметаной, получалась тёмно-серая смесь, которая, действительно, закрашивала седину. Но вот досада, самодельная краска исчезала при первом же мытье головы.

Будучи мужиком чистоплотным, дед не мог долго ходить с немытой головой. Что же делать? Начал обливать волосы чистой водой, без мыла. На подушке появилось огромное жир-

ное пятно, отстирать которое полностью никак не удавалось. Дуня бурчала, говорила, что дед совсем рехнулся, раз такое творит на старости лет. Но никакие слова впрок не пошли, пришлось сшить наволочку из чёрного сатина.

Евдокия и Иван дожили до глубокой старости. Холодильников тогда не было, варево готовили каждый день. Остатки отдавали домашней живности – свиньям, курам, собаке.

Вчерашнюю еду не употребляли. В борщ клали курицу целиком. Знакомая картина: из чугуна торчат две булдыжки. Однако мясом особенно не увлекались, посовают, бывало, варёную курицу туда-сюда, съст кто хвостик, кто крылышко или пупок – в общем, кому какая часть нравится, оставшееся – собачке, ей ведь тоже требуется. Свинью резали только по холоду, в основном, к Рождеству. Сало засаливали в деревянных ящиках, старых ульях, мяса же оставалось совсем мало: часть шла на колбасы и ковбык (свиной желудок), почти половину туши раздавали соседям и родственникам. Когда те зарежут, обязательно принесут кусок, примерно такой же, как и получили Подавали и бедным, у которых никогда не было поросёнка. Как обычно, это были многодетные семьи или одинокие немощные старики. Им полагался ливер без возврата, за спасибо. Одинокие женщины с детьми (муж или погиб, или бросил) выживали исключительно на подачках добрых людей; несли кто что мог – молоко, картошку (семья съедала её задолго до весны), сало и прочее. Колбасы у Дуни получались чуть поджаренные, духмяные, цельные, то есть не полопавшиеся. Начиняли всей семьёй. В мясо обязательно добавляли жирку, чесночок, солили по вкусу. Потом хозяйка возилась с ними дня три-четыре подряд. Русская печь топилась не слишком жарко, не как на хлеб. Большие сковородки с колбасами ставили в печь примерно на полчаса. Затем вытаскивали. На следующий день опять так же. Это делалось для того, чтобы колбаски не полопались от сильного жара. Когда всё было готово, брали махотку (небольшой глиняный горшок с широким горлом), укладывали аппетитные круги один на другой и заливали горячим смальцем. Такое приготовление давало возможность хранить продукт долго, правда, ставились горшки в погреб, где прохладнее. Ковбык съедали сразу, потому что большая толстая масса могла не пропечься так, чтобы хранить без холода. С утра отрезали каждому увесистый ломоть, обязательно с хлебом, потому что без него можно слопать всё мясо за один присест. Лакомство это было долгожданное и появлялось в семье один раз в году. Колбасы доставали по праздникам, в будние дни разрешалось подкормить только хворого. Особых разносолов в доме не водилось, как у гоголевской Пульхерии Ивановны, но пища всегда была вкусная и свежая.

Зимой на лавке постоянно стоял чугун с узваром, который готовили только из сухофруктов – абрикосов, слив и целых небольших яблочек, высушенных на чирини (на раскалённых кирпичах в печи). Яблоки имели вид невзрачный, сморщенный, к тому же припорошенные золой. Но когда этот фрукт попадает в кипяток, он превращается в наливное яблочко, раскусишь, а там ароматный сладкий сок.

Сушить абрикосы для Дуни было приятной работой. Разлущенные половинки плотно укладывались на доски, старые двери – в общем, на всё деревянное. Чуть заветрятся – их сгребают в небольшие кучки, досушивают, как говорят, до пороха, чтоб они аж тарахтели. Чистая янтарная сушка детям служила вместо конфет, набьют, бывало, карманы и похрустывают целый день. На первый взгляд, сушить абрикосы – дело простое. Ан нет. Во-первых, собирать надо чуть недоспелые ягоды, тогда они быстро сохнут и остаются жёлтенькими и пахучими. Переспелый абрикос на солнце чернеет, и вкус у него подгоревший. А ещё эта полезная ягода, богатая витаминами, не любит влаги. Ей нужно только солнышко, а если ещё и тёплый ветерок, то через два-три дня можно ссыпать в полотняный или хлопчатый мешочек на зиму. Хранить сушку следует в сухом жарком месте. Достаточно немного влаги – и заводится шашель, белые червячки, мгновенно превращающие абрикосы в решето. Если уж довела до такого хозяйка, то лучше выкинь курам, им будет в радость белое мясо.

Яблоки, сушенные в золе, никакая гадость не берёт, их можно держать где угодно. Зола – великое дело. После войны из-за нехватки или полного отсутствия мыла делали щёлок для стирки одежды и мытья головы. Этим спасались и от паразитов. Щелочную воду приготавливали только из одного сырья – выбитых от семечек шляпок подсолнухов. Их сжигали, собирали золу в узел, который опускали в горячую воду, проминали, несколько раз отжимали, получался щелочной настой. В тяжёлые послевоенные годы дети сплошь заболевали кожными болезнями, такими, как короста, чесотка, чиряки (фурункулёз). Болели ими и взрослые, но в меньшей степени. В тёплую ванну из щёлока добавляли ещё и серы, но младенцев в таком растворе купать было опасно, случалось, подкатывали глаза и теряли сознание. Спасением от вшей после войны стал дуст. Это потом его признАют вредным для организма, но сразу он сыграл положительную роль.

Воду пили родниковую, но её приходилось добывать в буквальном смысле этого слова. На три не очень больших хутора «работали» два родника, расположенных на противоположных буграх. В низинах, колодцах и речке вода была и сейчас остаётся горько-солёной, пригодной только для животных и уборки помещений. Для стирки она тоже не годится – слишком жёсткая.

У родников просиживали целыми днями дети: вода поступала медленно, её аккуратно, чтобы не замутить, черпали кружками, выливая в вёдра. Добудут водички – значит, можно что-то сварить. Люди побогаче имели бассейны с дождевой водой и, конечно, дома, крытые железом. К ним приходили с кувшинами, банками, четвертями – не с ведром! – выпрашивали хотя бы на супчик или напоить ребёнка.

Жизнь постепенно налаживалась, на общем дворе сделали вместительный бассейн, в который дважды в неделю привозили воду из Кубани, в колхозе появились специальные машины – водовозки. Девчата, молодые бабы толпились с вёдрами, коромыслами, запасались водой. Как только заводы стали снабжать население шифером, колхозные бассейны постепенно опустели, воду стали привозить по заявкам. Соломенные и камышовые крыши ушли в прошлое, шиферные же позволяли собрать воду если не в бассейн – не каждая семья могла его построить, – то в бочки и всякую объёмную посуду. Дождевая вода в ту пору, когда воздух был чистым, для селян стала благодатью, даром божьим: мягкая, со вкусом растаявшего снега, пить её – одно удовольствие; старые люди до сих пор по привычке собирают небесную влагу для мытья головы, волосы становятся живыми, блестящими.

В наше время дождевая вода вряд ли сохранила свои качества, как в далёкую бытность. Выпавшая ночью роса уничтожает овощи, с деревьев, как осенью, опадают едва распустившиеся листья. Как бы буйно ни цвели абрикосы (именно они более чувствительны к химии), плодов почти нет, остаётся десяток-другой, и те корявые, их называют у нас коростявыми.

В годы безводья Дуня не посылала своих детей к роднику. Речка, как и сейчас, текла в конце огорода. Сбоку русла, в канавке, бил родник, вода прямо бушевала в нём. На него никто не зарился, потому что там купырхалось множество непонятных насекомых белого цвета, удлинённых, как фасоль, с густо растущими не то усиками, не то ножками по краям. Их называли мокробками, от слова «мокрый». Дуня набирала ведро воды со всей живностью, дома процеживала через сито (куры в драку расхватывали такой деликатес), воду кипятила. Главное, она была пресная, никакого привкуса и запаха не имела, и еду приготовить можно, и постирать. О своей находке деликатно никому не говорила.

Если читатель сего сочинения помнит, я рассказывала, как у Писаренков украли корову в голодном 33-м году. Остался брат того, кто был осуждён и умер в тюрьме. Гришка, так назовём его, был мужиком грамотным, работал в колхозе учётчиком, начислял людям трудодни. Дуне в первые послевоенные годы уже было за пятьдесят, на работу она выходила, но не ежедневно, как молодые, следила только за тем, чтобы была норма. Этой нормы, по подсчётам Гришки, как раз и не оказалось. За невыработку трудодней в те времена судили. Это была

не тюрьма, а так называемый принУд – принудительные работы с различными сроками. Из-за нехватки двух трудодней Дуню отправили на месяц принуда на шерстомойную фабрику, которая и сейчас располагается в ст. Зеленчукской, известная в нашем крае шерстомойка.

Кузьмич постоянно находился на пасеке, километрах в пятнадцати от хутора, дома оставался Колька, ни к чему не прибитый подросток. Нина, жившая на то время в Овечке, привезла на неделю шестилетнюю Шуру, пока сама была на сенокосе. В хате без Дуни стало пусто и неуютно, чугуны пустые, есть почти нечего. Изголодавшись, Колька решил наварить супа.

Пойдём, ящерка, за водой на речку (другого обращения к племяннице он не знал).

Подошёл к тому самому роднику, зачерпнул воды с плавающими мокробками, принёс домой, налил в чугун не процеживая, поймал жменей несколько попавшихся насекомых, закипятил воду и всыпал в неё большую чашку нарезанной картошки. Суп получился густой, наваристый, и Шура, голодная, ела с жадностью, не отрываясь от чашки. Про мокробок вспомнила, когда наелась. Тут пришли полакомиться тутовником соседские девчата, чуть постарше Кольки. Улучив момент, когда горе-повар отойдёт в сторонку, Шура доложила одной из них, Ельке Смоленской:

– Еля, а наш Колька супа с мокробками наварил.

Та рассмеялась, стала рассказывать другой, когда Колька уже был рядом и всё слышал. Ну и перепало же на орехи гадской ящерке, когда девчата ушли. Поделом, конечно, но душа горела рассказать про Колькин гадкий суп с мокробками. За нетерпение души расплатилась спина и голова. После этого Колька, будучи по характеру жестоким, превратил племянницу в рабыню: она подавала ему воду в кружке, подносила башмаки, стирала майку, когда он собирался вечером на улицу. Однажды погнал в огород накопать картошки. По заросшему бурьяном огороду ходил белоголовый лохматый мальчишка, в одних замызганных кальсонах с закатанными до колен штанинами. Нина, приехавшая забрать дочь, присела с дороги на порожки хаты, увидев чужого, спросила:

– Что за пацан лазит у вас по огороду?

– То не пацан, то Шурка.

Нина привезла дочери платье, сшитое из марлевых бинтов, накрахмаленное и густо подсиненное. Радости не было предела. Но у Золушки бальный наряд сохранялся до полуночи, а у Шуры – до первой стирки. Бинты, схваченные на живую нитку, расползлись в воде, которая приобрела красивый тёмно-синий цвет. У Некрасова «плакала Саша, как лес вырубали…», нашей Саше было «жалко до слёз» растаявшего в воде платья.

Выдавать чужие тайны Шура обожала, ну никак не могла держать язык за зубами, хотя уже понимала, что рассказывать можно не всё и не всем. Ну что делать, если очень хочется удивить взрослых какой-нибудь новостью.

Через прогон от Писаренков жила вдова с двумя дочками-подростками с небольшой разницей в годах. Надька Репкина (Репчиха) вроде бы и дружила с Дуней, но дружба эта не была бескорыстной, чаще всего соседка приходила, чтобы, поговорив о пустом для приличия, чем-либо разжиться: огурчиком, помидорчиком, ранней капусткой. В Репчихином огороде в бурьяне волки выли, все трое – и мать, и дочери – страдали ленью, работать не любили.

– Дунькя, пусти Ивана дверь подправить, зимой в щели всё тепло из хаты выходит.

И Дуня по простоте душевной соглашалась, хотя и догадывалась, что отпускала козла в огород.

Додельная хозяйка, любившая возиться с тестом, Дуня как-то напекла пирожков с виноградом. Вытащила их из печи, спрыснула водой и накрыла полотенцем, чтоб отпарились и помягчали. Сама вышла из хаты. На запах, заполонивший весь двор, пришёл Кузьмич, воровато огляделся, никого нет, положил в пазуху несколько пирожков, поддерживаемых ремешком, и шамаром к Репчихе. Как раз на прогон выходило окно, и Репчихина хата была на виду.

Глазастый шпион, которого дед не заметил, сидел на печи и всё видел. Только Дуня переступила порог, внучка тут же доложила: «Бабушка, а дед Репчихе пирожки понёс».

Дуня птичкой выпорхнула из хаты и бегом через прогон. Кузьмич не успел ещё поздороваться, как влетевшая супружница вцепилась в рубаху с пирожками. Виноградный сок, тёмно-бордовый, ещё не остывший, обильно полился по штанам, а дед, чтобы не обжечься, задыхаясь, прижал пузо к самой спине. Репчихино семейство, перепуганное, стояло разинув рты.

– Тю, дура, – разрядил обстановку вор, да шо тебе жалко этого гомна? Полстола накатала, хватит на всех…

Сделав своё чёрное дело, Дуня поспешила домой, довольная и даже развеселившаяся. Следом побитым псом плёлся всехний жалельщик, ругал не дуру набитую, а того, кто выдал его.

– Я ей, сукиной дочери, сейчас дам, я ей покажу, как деда выдавать.

Дуня поспешно вошла в хату, кинула на печку попавшееся в руки рядно:

– На, укройся и спрячься в угол, дед злой идёт, как собака.

От рядна обильно пахнуло пылью, дышать, закутанной, стало трудно, но чувство вины и страха заставляло сидеть не шелохнувшись.

– Так, где моя кочерга, счас я достану эту поганку с печи и утоплю в макитре с водой.

Дед ширял кочергой, намеренно не доставая до угла, где спряталась вусмерть перепуганная доносчица. Бабка, поддерживая спектакль, вцепилась в держак, обороняя невиноватую внучку.

– Не трогай, кобель старый, мою помощницу, я сама догадалась, кто пирожки украл.

Не страшно было чёрной кочерги и дедовой ругани, а вот от упоминания макитры с водой… стало холодно. Дело в том, что Шура тонула в этой самой макитре. Зимой пресную воду добывали из растаявшего снега. Набитые снегом вёдра ставили на раскалённую печку-грубу и по мере таяния сливали в огромный горшок, стоявший рядом. Дети днями толклись на печи, потому что выйти на улицу было не в чем. Задравшись, нечаянно вытолкнули наружу самую маленькую, и она полетела вниз головой прямо в ледяную воду. Благо, в хате оказался дед, выхвативший за ноги посиневшее от кашля дитя. Утопленница подросла, научилась говорить и не раз с головой выдавала своего же спасителя.

Однажды Кузьмич чуть не лишил жизни свою языкатую любимицу. Может быть, именно потому, что с ней постоянно случались какие-то семейные истории, она оставалась для стариков самой близкой и родной. Остальные внуки не задержались в их памяти, прошли мимо, без следа, как в тумане. Обратная реакция была такой же, как говорится, что посеешь, то и пожнёшь. Старики ещё при жизни для них ушли в забвение, они только слышали об их смерти, хотя жили не в других краях; не столь дальние родственники так и не знают места их могил.

В начале сада стояло огромное тутовое дерево. Ягоды на нём, поспевая, становились чёрными, крупными и слаще мёда. Сахар получали тогда только те, кто, выполнив молокопоставку (350 литров), сдавал в государство излишки, на которые начисляли сахар. Так что шелковица для детей всегда оставалась лакомством. Птицы тоже обожали сладкое. Нижние ветки занимали детишки, а верхние – скворцы. Дед решил погонять прожорливых шпаков: взял ружьё, опустился на одно колено и стал целиться. В ветвях он не заметил внучку, пытавшуюся подобраться ближе к верхушке, где ягоды от солнышка были гораздо крупнее и слаще. Только одно мгновение спасло десятилетнюю девчонку, когда она нагнулась за пропущенной ягодкой. Прогремел выстрел, стая птиц шумно снялась с дерева – и только тогда у неё появилось чувство страха. Она быстро спрыгнула на землю и, деловито выставив ладонь вперёд, как это делали взрослые, спросила:

– Дедушка, куда ж вы стреляете? Вы что, не видите, что я там?

Лицо деда стало белым. Он продолжал стоять на одном колене, обронив ружьё наземь. Потом подтянул другое колено и стал размашисто креститься.

– Ладно, – успокаивала внучка, – вставайте, пошли в хату.

В праздники, выпив лишнего, долго вспоминал этот случай, заливаясь слезами. Если Шура оказывалась рядом, гладил её по голове, говорил, что Бог спас его от тяжкого греха. Любуясь малолетней внучкой, не раз повторял:

– Цэ будэ учительша. Мешки в колхозе она таскать не сможет. Слабенькая. Но на язык цикава. И память хорошая.

Не знали в те времена ни о каком холестерине. Ели то, что было в доме, магазинная пища – консервы, сладости – были не по карману; как говорят, борщ да каша – вот и вся еда наша. И хотя пища готовилась одна и та же на всю семью, у Дуни к концу жизни развился сильный склероз, она не помнила имён самых близких родственников.

Когда внучка, приехав на выходные, посещала стариков, бабушка становилась суетливой, озабоченной, через каждые пять-десять минут спрашивала:

– А скоки ж оно время? Пора тебе домой идти, а то темно будет.

Дед потерянно смотрел на жену, разводя в бессилии руками.

– Совсем старая потерялась, втемяшится что в голову, она и долбит одно и то же. Замолчи, сатанюка. Молодица только что пришла, а ты её гонишь.

Ну, оно ж уже солнце низко, – спокойно отвечала Дуня, уверенная в своей правоте.

Кузьмич в свои 92 года умирал в здравом уме. К смерти относился философски. Казалось, откуда взяться такому сознанию у простого мужика? Умирать, говорил он, надо летом. Почему? Да потому что летом земля мягкая, легко копать могилу. Зимой кому охота долбить мёрзлую землю? Люди должны проводить покойника с лёгким сердцем.

Он словно спланировал свою кончину: умер первого июля в выходные дни. Родственникам не понадобилось отпрашиваться на работе; спокойно, без слёз и стенаний проводили на кладбище, помянули обедом и добрыми словами. Прожил человек долгую жизнь, лежачим почти не был, никому не успел надоесть. Всё свершилось так, как он хотел.

Дуня пережила мужа на три года. А родились они в одном, 1891 году.

Сёстры

Родные сёстры были настолько несхожими, что невольно подумаешь: генетика брала выходные дни в момент зарождения детей, и родители тоже как будто были не при чём, по крайней мере, внешне.

Нина, старшая, родилась со взрослым характером – напористая, сообразительная, с хитринкой. Напрасно взрослые за шалости и непослушание пытались пугать её бабой Ягой, волком, медведем. Вытаращив любопытные глазёнки, быстро соображала, как спастись от страшилок.

– А у бабы Яги есть кочерга?

– Нет, у неё метла.

– Так я её горячей кочергой по голове. И убью.

А злому волку надо зубы выбить, чтоб не кусался. Долго никак не могла найти уязвимое место у медведя. Слушала молча, думала.

Курица, спрятавшись в сене, вылупила цыплят поздней осенью. На дворе уже начали пролетать белые мухи, когда наседка с десятком жёлтеньких комочков появилась во дворе. Забрали бедолаг в хату. Постелили в уголке соломки, отгородили табуретками, поставили в тарелку перевёрнутую банку с тёплой водичкой. Нине показали, как надо кормить цыпляток. И вдруг цыплята стали исчезать. Не могли найти ни дохлых, ни живых.

–Нина, а куда цыплёночек делся?

–Наверное, улетел.

А улетали беспомощные птенчики, если, кроме Нины, в хате никого не было.

Когда от десятка осталось только двое, стали в окошко подсматривать, что же она с ними делает. Посидев смирно на кровати, вдруг деловито сползла с неё – и к перевёрнутым табуреткам. Квочка металась в углу, грозно растопырив крылья, но бесстрашный ребёнок уже зажал в руках трепыхавшегося птенчика. Нина по опыту знала, что надо делать, чтобы он не пищал: ручонки сжались до дрожи – и головка несчастной жертвы бессильно повисла.

Дальше пошло ещё интереснее. В передней хате постоянно топилась печка (дверцы в печках появятся позже, когда люди начнут топить углём). Вот в такое открытое огниво и полетел цыплёнок. Сделав своё чёрное дело, маленькая амазонка снова забралась на кровать и уселась как ни в чём не бывало.

– Нина, покажи, куда цыплёночек улетел.

– Не улетел. Приходил видмедь и съел его.

После этого взрослые уже не пугали Нину медведём. Страшилки-животные из-за неэффективности воздействия на ребёнка не стали упоминаться. Попробовали по-другому.

– Не будешь слушаться, мы тебя отдадим цыганам, а себе возьмём другую девочку.

Посидела, подумала. Стала грустной. А потом выдала:

– Бабуфка, а какую вы возьмёте, больфую или маленькую?

– Выберем послушную.

– Возьмите маленькую, – и показывает руками, какой величины она должна быть.

– А почему маленькую?

– Я её побью.

И вскоре в семье появилась та самая маленькая, которую можно бить.

Аксюта (так назвали новорождённую) появилась на свет хилым ребёнком-недовеском. Это красное лысое существо с вечно раскрытым от плача ртом сразу вызвало неприязнь у Нины. Взрослые же, как слепые, сюсюкают над ней, заглядывают в люльку, купают каждый день эту уродину, а от неё всё равно воняет. Из-за неё Нина осталась без внимания. Сидела насупившись, строила планы, как же избавиться от «сестрички». Мамка, такая глупая, при-

тащила в хату этого противно мяукающего кошинёнка, да ещё и сиськой кормит. Ну и оставила бы его в капусте, пусть там и живёт.

Со временем «сестричка» стала орать меньше. По утрам взрослые уходили во двор управляться, оставляя ненадолго детей одних. Нина ещё спала, когда кошинёнок зашевелился, стал кряхтеть, а потом замяукал, да противно так…

Нянька подхватилась с постели, загребла в руку золы из печки, влезла на стул, оказавшись на уровне люльки. Разжимая руку, стала струйкой сыпать золу в противный раскрытый рот. Ишь, как завертела головой! Понравилось? И плакать перестала!

За этим занятием и застала внучку баба Поля.

– Ой, лыхо мое, шо ж ты робышь?

Ни словом не обмолвилась невестке и сыну, боялась, что её Нына опять будет истерично кричать и прятать задницу в угол.

Стала бабушка забирать с собой Ныну, когда шла на поминки или крестины. Одевала внучку в чистое платье, на ноги – черевички с ушками. Обедом кормили в первую очередь детей, чтоб потом не заглядывали и не мешали взрослым.

Нине не хватило ложки. Сидела она над тарелкой вкусно пахнущего борща, и ей казалось, что прожорливые дети едят очень долго и эта пытка будет длиться до вечера. Она попробовала хлебнуть через край, а девочка постарше громко сказала: «Гляньте, Нинка, как собачка, лакает из чашки». Дети развеселились и стали есть ещё медленнее.

Хотя следующие поминки случились не так скоро, Нина не забыла свои мучения за столом. Баба Поля не сразу заметила, что внучка что-то крепко зажала, схватившись за платье на груди.

– Нына, унучичка, шо там у тебя?

– Лофка. А то опять не хватит.

И ведь понимала малолетняя разумница, что ложку надо нести незаметно.

Имена в ту пору давал поп в честь святых. С Ниной получилось иначе. По соседству жил богатый помещик. Взрослые племянницы его, ровесницы Ивану и Дуне, приезжали к дяде на всё лето. Узнав о рождении первенца в молодой семье, попросили родителей взять одну из них крёстной матерью. Сами договорились со священником о дне крещения и попросили назвать младенца Ниной, по имени их незабвенной матери, умершей при родах. Приехав к дяде через год, в первый же день прибежали к крестнице с кучей побрякушек, чепчиков и байковым одеялом. Им понравилась пухленькая девочка с ещё не стриженными волосами, спадающими на глаза. Они таскали её по полдня на руках, уносили к себе в дом, кормили всякими сладостями – в общем, радовались и забавлялись живой куклой.

Вскоре начались смутные времена, помещик, прихватив самое ценное, бежал за границу, никто не знал о судьбе двух девушек, добрых, весёлых, не чуравшихся общения с бедными людьми.

Вот почему бабушка Поля произносила необычное имя внучки на свой лад, с хохлацким акцентом. Выйдет, бывало, во двор, поставит руку козырьком над глазами, высматривая, куда же подевалась её любимица. И зовёт тонко, высоко:

– Ны-на! Ны-на!

Иван тоже обожал свою непослушницу и, сам того не замечая, поддерживал и воспитывал в ней неженский характер и некую агрессивность к окружающим.

– Мы сейчас пойдём и как дадим им в нос! Ишь вы, свини поганые, обижать нашу Нину! Ноги повырываем и собакам отдадим!

Эта воинственность, заложенная в ней самой и к тому же постоянно поддерживаемая отцом, осталась у неё до старости. Иногда бойцовские качества приносили пользу, но чаще всего они приводили к ненужным скандалам и потере женственности.

К маленькой Аксюте она привыкала постепенно и долго. У старшей сестры появилась не любовь к младшей, а чувство собственности. Когда девчушка похорошела, стала ковылять по двору, что-то лепетать, у неё уже был верный сторож – Нина, старшая сестра: если кто попробует тронуть малышку – даст палкой по голове. Так пострадала квочка, клюнувшая Аксюту в колено, защищая своих детей. Бабушка Поля еле успокоила разъярённую Ныну, чуть не убившую несчастную курицу.

Барышней она никогда не была. Ей больше подходило название «сорванец в юбке»: дралась с мальчишками, ровесниками, а иногда и постарше, и неизменно побеждала. Приходили с разборками родители, приносили для убедительности разорванные рубахи.

Лишь к 16 годам появилось чувство стыдливости от своего внешнего вида, желание красиво одеться и кокетливо повести плечиками. Разница в возрасте с сестрой была небольшой, всего два года. Поэтому мазило и пудру родители стали покупать дочерям одновременно, одежду на выход тоже.

На базар в Армавир отец любил ездить один, без Дуни. Умел купить самое нужное, всегда угождая своим девчатам. Мазило в жестяных баночках водилось далеко не у всех, и охотниц помазаться надурняк находилось много. У Аксюты были свои подружки, у Нины свои. Младшая отличалась бережливостью, если не сказать скупостью: слегка подцепив пальчиком пахучую мазь, давала каждой на ладошку – не хватит намазаться, можно вдоволь нанюхаться. Нина, будучи натурой широкой и нежадной, подставляла каждой товарке баночку, и те, не стесняясь, ковыряли поглубже, чтоб намазаться до синевы. Зная безмерную щедрость старшей сестры, Аксюта прятала свою баночку в пшеницу. Сколько бы Нина ни просила, ответ был один – мазило кончилось.

Улучив момент, когда Аксюта допалывала в огороде свои рядки кукурузы (она была медлительна в работе), Нина нашла схрон, раздала своим девчатам по комочку, оставив один для маскировки. На дно пустой баночки, закатываясь от смеха, положили коровий помёт, аккуратно замазав сверху тонким слоем крема. Баночку сунули в пшеницу на том же месте.

Дня через два явились любительницы чужого мазила, стояли в ожидании, пока хозяйка шарила рукой в закроме с зерном. Благостно улыбаясь, Аксюта сняла зелёненькую крышечку – и пальчиком коп! Глаза округлились, рот в изумлении открылся, и из него вырвался звук, похожий на глубокий вдох, лицо посерело, как подкошенная, страдалица упала на землю. Девчата с перепугу— врассыпную! На шум вбежала Нина, стала поднимать несчастную с пола, уговаривая:

– Ну чё ж ты так убиваешься? Ну прости меня. Скоро папанька поедет в Армавир, купит ещё, и я всё отдам тебе.

С трудом привела сестрицу в чувство, просила не говорить родителям. Отходчивая Аксюта ни отцу ни матери не жаловалась, никогда не ябедничала на старшую, несмотря на её проделки и неблаговидные поступки. И знала ведь, что Нинкины обещания – битьё кнутом по воде.

У Писаренков имелся свой гужевой транспорт: в бричку впрягали красавца жеребца; огромный, каурой масти, с гривой, чуть посветлее, распадающейся на обе стороны стройной шеи. ПастИ его нужно было подальше от колхозного табуна, ибо покалечит всех кобылиц. В единоличных хозяйствах водились овцы, коровы, лошади, пастухами были в основном дети. Они собирались гурьбой, день проходил весело и быстро. Нина же днями пропадала одна возле этого проклятого жеребца. Не дай бог, учует кобылу, запряженную или в частном стаде неподалеку – бежит, как скаженный, раздувая ноздри. Отогнать его могли только мужики. Часто, не справившись с остервенелой животиной, Нина приходила домой в слезах. Иван, не разобравшись, отпускал дочери тумаков, потом бежал сам на поиски Буяна. А он, стервец, набегавшись вволю, чуя мужскую руку, шёл под ним размеренно и смирно: и что на меня наговари-

вают, смотри, хозяин, какой я спокойный и послушный. Дочь при таком исходе дела не могла доказать свою правоту.

Назавтра та же работа: подсадит отец Нину на Буяна, стеганёт его кнутом, и прёт он по буграм до тех пор, пока не устанет. Остановившись, издаст два-три призывных ржания, покрутит головой, нюхая воздух, и начнёт спокойно щипать травку, время от времени высоко поднимая голову, как бы осматривая округу: что там интересное происходит, может, рвануть куда в поисках подружки в охоте?

А то начнёт валяться по траве, благостно фыркая, эдакий тритон с блестящими коваными копытами, на которого страшно смотреть. (Тритон в понятии Нины было загадочное чудище весом в три тонны). Она отходила подальше, глядя на умиротворённое животное, испытывая смешанное чувство любования, страха и ненависти. Ненависти за то, что сверстницы её бегают друг к дружке, примеряют наряды, рассказывают про ухажёров, а она почти до захода солнца пасёт ненасытного жеребца; лицо её загорело так, что никакое мазило не сделает его белым; на ногах от жёсткой травы цыпки, станешь мыть, собираясь на улицу, щиплет потрескавшуюся кожу до слёз.

Баба Поля сочувственно советовала:

– Ты, Нына, облей ножки мочой, сначала будет больно, потерпи, а потом нычего, заживёт скорее.

Кто не испытал такого лечения, тот представить себе не может, сколько терпения требуется, чтобы вынести пронзительно щемящую боль. Но бабушкины рецепты действительно помогали.

Проблема с ретивым жеребцом разрешилась неожиданно: трагично для родителей и радостно для измученной пастушки. Началась коллективизация, и вольнолюбивое гордое животное пришлось «добровольно» сдать в колхоз. Красавец конь томился в затхлой конюшне, тосковал, вяло, без аппетита жевал пересохшее жёсткое сено, бока опускались от недоедания и бездействия. Он тихо ржал, призывая хозяина: помоги, ты же так гордился мною, вспомни, как гарцевали по хутору всем на зависть, как ты, никому не кланяясь, запрягал меня в телегу, и мы уже к полудню подъезжали к шумному городу. Ты шёл по своим делам, а на меня глазели, открыв рты, чужие люди, странные какие-то, будто сроду не видели лошадей. Как радостно было нам к вечеру вернуться домой, в тихие благостные места со свежим ветром и пахучей травою. Где ты, Иван, с любовью чистивший скребком мою кожу и чесавший мою гриву? От тебя так уютно пахло хлебом, иногда немного брагой.

Овёс и сено дома казались вкуснее, и приятно было слушать, когда хозяин, убирая лошадь, разговаривал с ней вполголоса с ласковой укоризной. В тёплые вечера после дальней поездки Иван купал своего любимца. Привязав к столбу, около которого зелёным ковром разросся шпарыш, приносил ведро с водой и, позвякав дужкой, чтоб не испугать животное, выливал на спину Буяна, от холки до хвоста. Это было знакомое бодрое, приятное ощущение прохлады. Приносил ещё воды и плескал ему бока, грудь, ноги, плотно проводил мозолистой ладонью по шерсти, отжимая воду.

Иногда, словно расслышав тайные мысли коня, Иван приходил на конюшню, долгожданный хозяин. Нежно гладил Буяна, шептал что-то сокровенное на ухо, успокаивал. Охапка сена, принесённая Иваном, отличалась особенными, незабываемыми запахами сада: мяты, эспарцета и таволги.

В редкие выходные дни Ивану удавалось прийти проведать коня днём, тогда он просил старшего конюха, чтобы тот разрешил промять жеребца.

Нагнув шею в дверях и осторожно переступив порог, Буян с радостью тянул в себя пряный воздух. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось всё глубже и свободнее, во всех мускулах чувствовалось нетерпеливое желание бежать и бежать. Но почему-то такое состояние длилось совсем недолго, конь стал тяжело дышать

и хрипеть. Иван, почувствовав усталость жеребца, не стал гнать его. Буян остановился, опустил голову и принялся усердно щипать траву мягкими, подвижными губами.

Возвращались шагом, с понуканием и подхлёстыванием, пробовал конь даже прихрамывать – есть такая хитрость у лошадей, если ни не хотят идти. Только что не скажет хозяину: «Забери меня домой, буду служить тебе верно и долго».

Но вот и конюшня, старая, неухоженная, со спёртым запахом мочи и навоза. Иван скрепя сердце заводит жеребца в стойло, тот пошаливает, стараясь ухватить хозяина за воротник, жарко дышит в ухо, утробно и коротко ржёт, не хочет расставаться.

Стойло Буяна было крайним, иногда сквозь отворённую дверь он видел других лошадей, ходивших и бегавших по воле, и тогда он призывно ржал, как бы прося помощи и жалуясь на своё одиночество.

Но дверь сразу закрывали, и опять скучно и одиноко тянулось время.

Через неделю, когда Иван явился на конюшню, старший конюх выразил недовольство:

– Не ходи больше к жеребцу, лютует он после тебя. Начал метаться, как бешеный, по станку, оторвался и попёр по проходу. Пришлось выгнать на улицу, втроём загнали в баз, заарканили и привязали к столбу. Всю ночь под дождём мок, пока не успокоился. Так что не обессудь, Писаренко.

В голодный 33-й год исхудавшего от бескормья жеребца забили на мясо.

Нине надолго запала в душу маета с непокорным животным. Но по ночам, перед тем как заболеть, снился один и тот же сон. На Буяне, судорожно вцепившись в гриву, сидит босоногая девчонка; конь летит, не касаясь земли копытами, а где-то впереди глубокий ров. Упадут они вместе с конём в бездну или перепрыгнут? А впереди ровный цветущий луг с запахом белой полыни и чабреца.

Сон прерывается на самом тревожном месте: упали или перелетели? Нина старается уснуть и досмотреть сон со счастливым концом: конь спокойно пасётся, а девочка лежит в душистой мягкой траве; над ней, словно привязанные на невидимой ниточке, зависли жаворонки, захлёбываясь в весеннем пении; ветерок елозит травинкой по щеке; солнце, ласковое, не пекучее, гладит приятным теплом рУки и босые ноги. Наверное, это не сон, а скорее, воображение. Но пусть оно продлится долго, до позднего утра.

До слуха доносится всхлипывание Аксюты и ругань матери:

– Ну ты же, дочка, знаешь Нинкину натуру, надо было в сундук спрятать, под замок. Сколько раз, сатана брехливая, обещала не брать чужого, тебе уже пора знать, что она у нас, как в той присказке: дэ ж ты бачив, шоб сучка блины пекла, вона их кистом пойисть.

Притаилась, плутовка, под одеялом, делает вид, что спит. Красивый сон кончился, наступил обычный серый день, с упрёками и одним и тем же вопросом – у тебя совесть есть или её собаки съели?

Отец привёз обеим дочкам кустарные туфли с базара, начищенные ваксой до блеска, на небольших каблучках, с застёжками-перемычками. Переняв от своего отца способность сапожничать и разбираться в сортах и качестве кожи, Иван понимал, что товар плохой, перепаленный, но где взять хороший, магазины в ту пору были пустыми.

– НосИте аккуратно, – сказал он дочерям, – старайтесь, чтоб вода не попала, можно только по сухому ходить.

Нина в тот же вечер появилась среди девчат и хлопцев в новых удобных туфельках. Заиграла гармошка – и ноги сами пустились в пляс. Отбивала гопака самозабвенно, до третьего пота. И вдруг почувствовала, что обувка стала просторной, а потом и вовсе расхлябанной. Незаметно отошла в сторонку, но при тусклом лунном свете нельзя было понять, что сталось с новой обувью.

Домой с гулянок принято было возвращаться тихо, на цыпочках, не зажигая лампы. Туфли, ставшие на два размера больше, завернула в тряпицу и сунула под подушку. И только

утром, когда в хате никого не стало, Нина развернула тряпку, на которой лежали тусклые, запылённые, полопавшиеся по швам туфли, если их можно было так назвать. Разбитые старые лапти.

Аксюта свою обнову берегла: сходит к девчатам в гости и, обходя все кочки и неровности дороги, спокойно вернётся домой и поставит чёрных блестящих голубков под кровать.

Нина терпела неделю, заглядываясь на сестрины туфли с завистью и неудержимым желанием хотя бы примерить их. Может быть, её туфли покрепче или из другой кожи?

Когда мамина дочка, тихая и послушная, уснула, отвернувшись к стене, Нина, как тать в нощи, умыкнула обувку и на цыпочках выскользнула во двор. У младшей сестры нога была меньше на один размер. Нина с трудом обулась, ступни прямо влипли внутри, невозможно даже пальцами пошевелить. Но ничего, идти можно. А потанцевать надо совсем немного и не слишком топая ногами.

Потанцевала. И принесла домой ещё одни разбитые лапти.

Хотя давно пора вставать, лежит кошечка, стащившая чужое сало, укрывшись с головой одеялом, слышит, ругают какую-то сучку, съевшую тесто для блинов. А послушная дура плачет, видно, блинов не досталось. Ну, держись, Нинка, не впервой тебе отбиваться и выходить сухой из воды. Выдержим и на этот раз!

Вспоминается случай годичной давности, когда сестра и брат, подлые души, выдали Нину из-за своей трусости.

Перед рождеством напекла мать колбас. Детей убеждали, что пока есть нельзя, бог покарает, а через два дня, когда наступит святой праздник, ешьте сколько угодно. Колбасы, остывая, стояли в сковородках на столе. Но разве можно вынести эти дразнящие вкусные запахи? Мать за порог – а Нинка к столу. Выдрала серединочки в двух сковородках, распределив равномерно колбасные спиральки. Как так и было. Честно разделила на троих, пригрозив меньшим: расскажете – прибью. Ещё не остывшие горячие толстенькие кусочки умяли в один момент и сидели притихшие, ожидая кары с неба, но больше всего боялись наказания отца. Поглядывали на тонкую длинную лозину, зацепленную за гвоздь на балке. Пока что она висела без применения, но за такой грех могла употребиться по назначению.

Мать сразу обнаружила пустые кружочки в сковородках; молча посмотрела на перепуганных детей и вышла. Лучше бы она поругала их, не так страшно было бы.

Через время спокойно вошёл в хату отец.

– А мы сейчас узнаем, кто нашкодил, как поганый кот.

Вырезал из хворостины три одинаковые палочки. Раздал онемевшим детям.

– Кто брал колбасу, у того палочка вырастет.

И уселся у окна, дожидаясь результата.

Нина подтянула на коленях старую фуфайку ближе ко рту и тихонько откусила верхушку палочки. Она последней подала отцу свой огрызок.

– Дочка, а чё ж она у тебя такая маленькая стала?

– Папанька, – высунулся на край печки малец. – А мы видели, как Нинка грызла палочку.

– Нина, может, скажешь что-нибудь?

– Откусила, чтоб не выросла.

Отец молча стал снимать с гвоздя лозину.

– А колбасу ели все? Или только Нина?

Дети молчали.

– Так. Слазьте с печки и полощите рот от скоромного. Попросите прощения у Николая Угодника.

В святом углу висела почерневшая от времени икона, рассохшаяся, уже без оклада и стекла. Но лицо Святителя было красивым и добрым, дети привыкли к нему и были уверены, что он простит их.

Иван, усевшись на лавку у порога, умилённо, сдерживая улыбку, наблюдал, как его чада по очереди подходили к иконе, крестились и что-то шептали себе под нос.

– Ладно, раз простил вас Чудотворец, то прощаю и я. Но в последний раз.

Детишки вмиг оживились и по одному стали залезать на печь. Пока каялись, ноги замёрзли: от земляного пола тянуло холодом и шерстяные носки, без обувки, не спасали.

Как-то мать послала Нину на чердак за луком. Дети там никогда не бывали, потому что и домовой, и Баба Яга, и рогатые черти – все обитали в этом месте. Вечером, заходя по тёмным сеням в хату, дети с опаской поглядывали на ляду чердака, едва видневшуюся от тусклого света, вырывавшегося в открытую дверь. Старались скорее закрыть за собою дверь, чтобы освободиться от гнетущего страха, давящего почему-то ниже затылка на плечи.

Нина на какой-то момент растерялась: разве можно добровольно лезть к чёрту на рога или получить по спине метлою? Домового не так страшно, потому что он хозяин и хаты, и двора, даже коров и лошадей охраняет. Без него (если он покинет подворье) всё прахом пойдёт – сгорит или смоется водою, да мало ли что может случиться. Но мамка так спокойно попросила Нину, что все опасения как бы улетучились и на смену им пришло любопытство, окончательно победившее сомнение и страх.

По приставленной лестнице Нина поднялась к потолку, головой приподняла крышку, которая, открываясь, запела тонко и дружелюбно. Кругом пусто и немного жутко; где-то вверху гудит ветер да поскрипывает старый фронтон с крохотным окошком. «Да ничего страшного тут нет», – подбадривает себя Нина. А вот и знакомый кожух домового, снял, наверное, на лето. Вспомнила Нина, как «хозяин» в длинном тулупе до пят, в вывернутой наизнанку шапке (чтоб не сглазили), с суковатой палкой медленно прошёл по двору, не поворачивая головы к окну, из которого, сгрудившись, смотрели дети; но за спиной стояла мать, успокаивала всех и почему-то закрывала рот ладошкой, чтоб не заплакать, что ли.

А через какое-то время в хату зашёл отец, и дети наперебой стали рас сказывать ему, как они видели домового.

– Это он уже на работу вышел, сторожить двор, если кто из вас придёт домой поздно, не пустит: он хозяин и любит порядок во всём.

– Папань, а почему он хромает?

– Наверное, в войну поранило. Немцы тут проходили, а наши по ним из пушек палили. Дом уберёг, а сам, бедолага, пострадал.

Вечером, когда меньшие дети уже спали, Нина видела, как мать хлопотала около таза с водой, промывая натёртую ногу отцу, что-то приложила и завернула ступню байковым лоскутом. Ещё тогда мелькнула догадка, что домовой слишком уж похож на отца.

Под самой крышей, на продольной балке что-то висело в старой наволочке, завязанной узлом. Пощупала руками – твёрдое, с бугристыми неровностями, понюхала – о, колбаска! Наверное, припрятала мать, чтобы разговеться на пасху.

– Нинка, сатанюка, – раздался внизу недовольный голос. – Тебя только за смертью посылать. Давай скорее лук, мне на зажарку нужен.

– Так я ищу, во что положить.

– А чё искать, набери в подол.

До самого вечера всё думала, строила планы, как же полакомиться вкуснятинкой и чтоб никто не догадался. Придумала-таки. Коты – вот кто может добраться до колбас. И никаких свидетелей, которые съедят и тут же выдадут тебя.

Быстро, как кошка, преодолев лестницу, оказалась на чердаке. Ляду предусмотрительно закрыла за собой. Наволочка ветхая, легко протыкается пальчиком, образуя дырочки, надо их ещё подрать ногтями. Два-три небольших клочка полетели вниз, для убедительности. Мясо в колбасках суховатое, отламываешь кусочки, а они – шпок-шпок! А вкус – не передать!

Спустилась с лестницы – и скорей к ведру с водой. Пахнет ведь! Побежала в сад, там на вишнях чуть завязавшиеся зелёные шарики, кинула штук пять в рот, пожевала. Вот и порядок в танковых частях!

За день до пасхи мать сетовала:

– Ну, проклятые коты, везде достанут. Хоть не всё сожрали – и то хорошо.

Иван, оторвавшись от заплатки на штанах, исподлобья посмотрел на жену:

– А не рукатые коты?

– Да нет, не похоже.

Летом на чердаке подвешенным к балке оказалось вишнёвое варенье, завязанное по горлышку белой тряпицей. Нет, сказала себе Нинка, тут номер не пройдёт: коты такое не едят. Представив себе, как Мурка лапкой достаёт из баночки варенье и аппетитно облизывается, Нина долго смеялась, заинтриговав Аксюту.

– Ну расскажи, чего ты смеёшься, – приставала младшая сестра.

– Ты не видела случаем, как собака смеётся?

– Не-е…

– А я видела.

И давай, оскалив зубы, показывать, как смеются собаки. Хохотали вместе. Ну и Нинка, придумает же. А Нинка на выдумки была горазда.

– Хочешь, Аксюта, чтобы лицо у тебя было белым и гладким, как яичко?

Для младшей это был больной вопрос, потому что в отличие от Нины она родилась (бог знает, в кого пошла) темнокожей и с чёрными волосами. Когда-то баба Поля рассказывала, что в роду у них была красавица молдаванка. Вот и разделил бог наследство между сёстрами: одной смоляные густые волосы, другой – вспыльчивый характер, умение врать и способность танцевать до упаду.

– Так вот, делай, что я тебе буду говорить.

И Аксюта с готовностью стала выполнять все команды.

Наказав сидеть у окна, не оборачиваясь, Нина вышла в другую комнату, нашла два одинаковых блюдца, в одном из которых закоптила дно над лампой, другое оставила чистым. Закопчённое дала в руки доверчивой сестрице, себе оставила чистое. «Смотри на меня и делай, как я», – скомандовала Нина. Помазав двумя пальчиками дно, потёрла сначала подбородок, опять поелозив дно, тёрла нос, щёки, лоб. Аксюта (чего не сделаешь для красоты?» послушно повторяла все движения.

– А теперь, – серьёзно продолжала приказывать любительница посмеяться, – повернись в угол и стой, не двигаясь, считай про себя до десяти. – Готово! Теперь посмотри на себя в зеркало.

Сама шмыгнула в открытую дверь, давясь от смеха.

– Дурочка! – кричала красавица с «отбелённым» лицом, в сердцах поддев ногой пустое ведро. Воды в доме не оказалось, и разъярённая чернавка металась по двору, размазывая сажу по лицу.

– Да что ж ты поддаёшься на её удочку, они же с отцом одним миром мазаны, им бы только ржать, как кобылам, – не то уговаривала, не то упрекала мать.

Ждать следующей выдумки приходилось недолго, снова и снова тихая доверчивая Аксюта, как слепая курица, попадалась на уловки неуёмной развесёлой отцовой дочки, которой всё прощалось. Так и шли они по жизни, очень разные, непохожие друг на дружку ни внешне, ни внутренне. Роднёй их считали только те, кто знал об этом. У Аксюты до старости косища была толщиной в руку. С возрастом густые длинные волосы стали обузой: мыть голову, когда ещё не было шампуней, приходилось хозяйственным мылом с резким неприятным запахом; высушить такую копну – тоже проблема. Тяжёлый тугой узел волос тянул голову назад, мешал работать. Стриженых женщин в ту пору на селе не было. Если кто-то помоложе, осмелев, отре-

зал или подрезал волосы, таких неизменно и со злорадством называли стрижеными морьками, скубленными овечками или тифозными.

Чтобы не попасть под обстрел языкатых баб, Аксюта стала вырезать на затылке волосы пучками – и голове легко, и незаметно.

Нину бог обидел при распределении растительности, надо полагать, всё досталось младшей. Свои редкие тусклые волосы непонятного цвета она называла пацёрками, мышиными хвостиками или паклями. Самохарактеристика была свидетельством того, что обладательница «трёх волосин, как у зайца на усах», совсем не расстраивалась по этому поводу, и, казалось, разговор о её «шевелюре» даже поднимал ей настроение. Умение посмеяться над собой передалось ей от отца, далёкого от самомнения и бахвальства.

Довоенное замужество сестёр не удалось. Причины распада брака были разными. Ребёнок от первого мужа у Нины умер, Петра забрали в армию, со свекровью она не ужилась. Домой уходила с руганью и дракой. Поссорившись со свекрухой из-за того, что часто бывала у родителей, Нина держала оборону, закрывшись в хате на крючок. Свекровь лютовала – дескать, не пускают в собственный дом – и призвала на помощь родственника, двоюродного брата Петра. Вместе они орали, толкали дверь, потом решили проникнуть внутрь через окно. Створки, нажав с улицы, удалось открыть, и свекровь опрометчиво сунула голову в амбразуру и получила раскрытыми ножницами под нос, раскроив верхнюю губу до самого некуда. Пока суетились со сквозным ранением, Нина не спеша покинула поле боя и больше сюда не вернулась. Муж демобилизовался только через три года, потому что из армии попал на финскую войну. Но теперь их уже ничто не связывало, они стали чужими друг другу, к тому же мать писала сыну нелицеприятные письма, охаивая сноху как только могла. Да и как же иначе относиться к бывшей родственнице, из-за которой доживала свой век с заячьей губой?

Аксюта вышла замуж за спокойного трудолюбивого парня с другого хутора; вошла в дом мужа как в родную семью. Когда началась война, Василий ушёл по призыву, оставив дома жену с полуторагодовалой дочкой. Вскоре на мужа пришла похоронка, но ставшая родной в семье сноха ещё несколько лет оставалась жить у свёкра на Синюхе. Но навсегда, как известно, невестки не остаются в доме мужа, если его самого там нет. Вернулась к родителям только перед окончанием войны с дочерью и новой романтичной, почти литературной фамилией – Ларюшкина. Нина тоже родила дочку, годом раньше младшей сестры, но оставалась по известной причине на фамилии родителей. Так появилось общее в жизни непохожих друг на друга сестёр: обе без мужей и обе с дочками.

После войны они поочерёдно выйдут замуж за инвалидов. Аксютин муж стал инвалидом в мирное время, по состоянию здоровья; у Нины – инвалид войны, сошедший с поезда на незнакомом полустанке. Но эти одинаковости станут такими же разными, как сами сёстры.

Первое, что нужно в семье, особенно для мужика, – это умение готовить еду, ибо какая ж любовь, если желудок пустой. У сестёр эта способность проявилась вне всякой логики. Аксюта, мамина дочка, вся такая правильная и послушная, готовила скверно, как говорится, на собак вылей, и те не станут есть. Хлеб у неё выходил приплюснутый, непропечённый, «глывкый», как у нас говорят, и через день – хоть об дорогу бей. Выросшая на пышном духмяном хлебе, сама не смогла перенять способности матери, известной в колхозе пекарьки.

Нина же никогда не вникала в тайны кулинарии, а вот поди ж ты, умела готовить не хуже матери, а в чём-то даже превзошла её. Иначе, как даром божьим, это не назовёшь. Уж если борщ, то за уши не оттянешь. О хлебе и говорить нечего. Если Нинка пекла хлеб, то к ней не подходи. Она суетилась, нервничала, накрывала тесто, за неимением специальных скатёрок, самыми нужными в быту вещами: платком, наволочкой, куском новой материи – лишь бы удалась выпечка. Сколько вещей было испорчено, потому что от теста, как ни отдирай, всё равно останутся следы, а при стирке образуются мелкие катышки, ткань делается шершавой и непригодной к употреблению. Зато неудачного хлеба никогда не бывало.

Не раз приходила Нина к Аксюте домой, показывала, рассказывала, та же относилась к своему неумению спокойно: ничего, голодные будут – поедят. И так во всякой стряпне: жидкий невкусный борщ, в котором одна картошина за другой бегает, пересоленный суп, подгоревшая каша; если пирожки, то только с комковатой, плохо растолчённой картошкой.

Николаев Николай, муж Аксюты, заботливый отец (от него родились две девочки) и добытчик денег (работал в колхозе бухгалтером), совмещал в себе два разных человека. Выпив лишнюю рюмку, становился невыносимым: придирался к жене, ревнуя её к каждому столбу, вспоминал все неудачи по дому, устраивал драку. А она, бесхребетная по жизни, позволяла мужику, горбатому, на костылях, избивать себя. Впутавшись в длинные волосы, он валил её наземь, тыкал костылями куда попало.

Нина, узнав по цыганскому радио, что Аксюта не вышла на работу из-за разрисованного мужем лица, прибежала к ней домой, пока воитель был на службе.

– Да ничего страшного и не было, – успокаивала младшая взбудораженную сестру.

– Он выпивший, конечно, поганый, а что с ним, калекой, сделаешь?

– Так этот поганый и тебя калекой сделает…

– Да нашло на него что-то, это ж бывает в каждой семье. И у вас бывает.

– У нас так бывает, что Я ему фингал поставлю, а не он мне.

– Ну, как у кого получается…

В день выборов (в те далёкие времена такое мероприятие отмечали как праздник) Аксюта с мужем пришли к Жердевым. Мужики, как всегда, хватили лишку. Митька сидел, растянув рот в пьяной улыбке, а Николаев начал «давать концерт». Он напирал на жену, требовал признания какой-то выдуманной им вины, размахивал костылями.

– Коля, успокойся, пойдём домой, – уговаривала Аксюта.

И тут, не вытерпев буйства разходившегося калеки, Нина пошла в разнос.

– Ах ты камбул проклятый (Николаев ко всему ещё был и одноглазым), да сколько же ты будешь издеваться над нею?! Я сейчас долбану тебя так, что будешь лететь со своими костылями до самого порога!

– Нина, не надо, не ругайся, – вступилась за несчастного мужа Аксюта. – Мы сейчас домой пойдём. Выходи, Коля, потихоньку.

И Коля, почуяв жареное, бодренько так покостылял из хаты.

В гости к Жердевым они больше не приходили. Опасно. От этой сумасшедшей Нинки всего можно ожидать.

Жердя (так звали на хуторе Нинкиного примака) тоже не был подарком. Выпивал, по хозяйству ничего делать не умел; постоянно находясь на чабарне, нырял к одиноким бабам. Однажды на выходные домой не явился. Чабаны сказали, что Митька сошёлся с женщиной на Октябрьском, хвалился, будто ему там лучше, чем у Нинки.

«И на кого же он меня поменял, кацап хромой», – вертелось в голове у Нины. Вскоре сорока на хвосте принесла, что бабу ту зовут Дашка и работает она на свинарнике. Нина пошла посмотреть на разлучницу, была там недолго, и, вернувшись к себе на хутор, всем показывала клок тёмных волос. Долго носила реликвию в кармане фуфайки, пока не появился дома блудный муж.

Ни о чём не спрашивая, Нина стала хлопотать у печки, поставила на стол борщ, полкурицы и молоко – всё то, что обожал её Митька. Потом как бы между прочим спросила:

– У твоей зазнобы волосы какого цвета?

– Да вроде чёрные, а тебе что?

– Вот такие?

И развернув кусок газеты, показала свалявшийся тёмный комок. Митька от изумления открыл рот.

– Как ты думаешь, откуда эта волосня, с головы или …? – продолжала допрос улыбчивая жена.

– Во дура, да баба тут при чём? Это ты у меня должна была рассмотреть, где какие.

Наступило перемирие, но не надолго, до первой пьянки.

– Хоть поганенький, да свой, – думала и говорила Нина в оправдание, – и никто мне забор не обссыкает и в окно не заглядывает». Бабы ее поддерживали: это правда.

В канун рождества брат Николай с женой Нюсей приехали к старикам погостить и, если надо, помочь. К вечеру Колька незаметно, вроде до ветра, вышел из хаты и пропал.

Невестка нервничала, выходила на улицу, спрашивала свекровь, где он может быть. Глухо. Пошла к Нине, которая всегда была утешением для обиженных и брошенных Колькой молодиц.

– Давай сходим на МТФ, наверное, они там с папанькой квасят, – предложила золовка.

Кузьмич работал на скотарнике сторожем. Пришли. Калитки, вделанные в большие двустворчатые двери, с обеих сторон сарая оказались закрытыми изнутри. До сторожа не достучаться, потому что моечная, где обитал ночной страж, расположена посередине сарая и выступала от основной постройки метра на два от глухой стены. Небольшое окошко присобачили под самой крышей – не дотянуться, не постучать. Нашли в углу небольшую кучку оставшегося от пристройки саманА. Положили один на другой, получилась довольно высокая подставка. Первой залезла Нюся и через минуту, давясь от смеха, почти свалилась с самодельной тумбы.

– Что там такое? – допытывалась Нина.

– А вот ты сама посмотри.

Нина, приложив руки скобками около лица, уставилась в окошко. И перед ней открылась очень занимательная картинка. В железной ёмкости, в которой подогревали воду для мытья фляг, сидел голый дед, а молодуха, как бы не ровесница его старшей дочери, старательно тёрла спину, ласково похлопывая свободной рукой по плечам и шее.

Насмеявшись от души, решили действовать дальше. Умиротворённый выкупанный дед стал надевать верхнюю одежду. Наверное, собирается провожать подружку домой. Наблюдая из-за угла, увидели вышедшую парочку; направлялись в сторону Зари, небольшого хуторка с односторонней улицей, который располагался примерно в полутора километрах от МТФ.

Немного погодя, зашли в коровник, дверь в моечную была незапертой. Огляделись, что бы такое сотворить. Топчан застелен ватным цветным одеялом, колхозной собственностью. Его-то и увели развесёлые родственницы. Трофей оставили у Нины, положив под матрац на Шуриной кровати.

Утром явился на работу заведующий фермой, и доярки тут же с радостью преподнесли начальству новость.

– Кузьмич, шо ж ты за сторож, если у тебя из-под задницы одеяло спёрли?

– Ей-богу, Николай Васильевич, не знаю. Ходил по коровнику, присматривал за стельными первитками. Вернулся – нету. Шоб тому руки отсохли, кто это сделал.

– Так ты что же, не закрываешь на ночь дверцы?

– Закрываю, а как же! Може, забув?

– Ну, не обижайся, Иван Кузьмич, нам такие забывчивые сторожа не нужны.

Поплёлся уволенный работник домой. По пути зашёл к дочери. Уселся на ту самую кровать, где внизу была подстелена пропажа, нервно курил, поглядывая на суетившуюся Нину: что-то уж дюже некогда ей, наверное, чует кошка, чьё сало съела.

– Дочка, а ты случаем не подшутила надо мной с этим одеялом?

– Каким ещё одеялом? – честно глядя в глаза отцу, удивилась ни в чём не виноватая Нина. – Вы что думаете, я способна украсть у собственного отца?

– Да я так просто спросил.

– Вам бы давно надо сидеть дома, а вы всё по скотарникам лазите. Последний кусок хлеба доедаете?

– Да так-то оно так, конечно. Но всё ж таки…

Нина так и не решилась на совместного ребёнка, живя с Жердей: а вдруг выродится такой же носатый недомерок, как папа. Каких только определений не получал непутёвый Митька, а вот жила с ним; трижды он уходил к другим бабам, но, пожив несколько месяцев, возвращался, иногда не без помощи самой Нины, совсем недавно так усердно гнавшей беспечного курского соловья в шею: чтоб тобой и не воняло тут. Но проходило время, и на Нинку нападала такая тоска, что совладать с собой она была не в силах. Разыскивала блудного мужа, и после разговора по душам дня через два-три он как ни в чём не бывало сидел за столом, уплетая вкуснейший Нинкин борщ – на стороне он такого не ел.

К Шуре, неродной дочери, он относился с уважением, а со временем и заботой.

– Шурка, ты девка умная, смотри и запоминай: ты так жить не должна, как мы с матерью.

После десятилетки Шура уехала работать в шахтёрский город – Донецк. Мать не находила себе места, понимая, что дочь живёт там на минимальной оплате; уехала в старом школьном пальтишке и в холодных резиновых сапожках. Получив деньги, заработанные дочерью летом на колхозном току, прибавив половину своих, отослала ей на покупку нового пальто. А вскоре, не выдержав долгой разлуки, приехала сама с двумя набитыми наволочками, связанными и перекинутыми через плечо – один оклунок сзади, другой спереди. Лакомились домашней колбасой, сметаной, похожей на масло, и всякими напечёнными цвыбыками (что-то вроде хвороста).

– Ой, да что же это я разожралась, – беспокоилась Нина, – так всё и съем, что привезла.

Осмотревшись, трезво оценила ситуацию: так и будешь жить на квартире впроголодь? Возвращайся, найдёшь работу поближе к дому, чтоб на выходные можно было приехать и взять что надо из продуктов.

Шура давно уже думала об этом, совет матери только укрепил мысль об отъезде, и через два месяца она прикатила домой.

Старшая дочь Аксюты от первого брака, Маша, служила в семье рабочей лошадкой: Маруська, иди за травой кроликам; огород зарастает, пора уже второй раз прополоть; скоро корова придёт из стада, мешок зелёнки надо накосить – и так бесконечно. Ни ласки, ни душевного разговора, ни заботы девочка эта не знала. После замужества, родив первого мальчика, она поняла, что попала ещё в одну кабалу; муж грубый, устраивал скандалы и драки. Забрав ребёнка, вернулась домой.

– Мам, я там больше не могу жить.

– Да не, голубка, вышла замуж – живи, – таков был приговор не отчима, а родной матери

К старости все противоречия сестёр сошли на нет, как говорят. Они открывали друг друга заново. Жизнь потекла одинаково: нездоровье по возрасту, постоянные тревоги о взрослых детях, умиление и радость при редких встречах с внуками. Никогда на душе не было так тепло и благостно, как при разговорах о них.

– О цэ так, – наигранно возмущалась Нина поведением пятилетнего внука. – Баба и наварит к приезду гостей, баба и сказки выдумывает, баба и сумки собирает, чтобы они там, в своём городе, не голодными были. А как спать, так к деду под бок лезет.

– На узкой кровати Митька всю ночь ворочается, а терпит, не уходит от малОго на другое место. Утром проснулись, а я, пока дед в магазин ходил, и говорю:

– Будешь, Серёжка, с дедом спать, у тебя вырастет такой же нос, как у него. Хочешь быть похожим на деда?

– Нет! – заорал в растерянности бедолага, – не вырастет, потому что дед не из нашего муравейника!

– Надо же такое сказать, – удивлялась Нина, – когда-то, наверное, слышал, что дед у нас пришлый и что Шура неродная ему дочка.

Перестали они жаловаться на своих мужиков: Аксюта потому, что уже несколько лет жила одна, Нина потому, что её Митька давно уже отошёл от пьянки и бурной жизни на чабарнях; всему своё время – мудрствовал он. Время проходило в неспешных мирных беседах, в воспоминаниях молодости.

– Ну и оторвилой же ты, Нинка, была, а теперь посмотрела бы на себя с того времени и не узнала бы: грузная седая баба, еле ноги передвигает…

– А ты, смотрю, такой и осталась, как в молодости – сгорбленная, ножки калачиком поставлены и переваливаешься, как утка.

Почувствовав, что дальше рассказывать друг о друге опасно (того и гляди поругаются), добродушно посмеялись и по-умному сменили тему.

Доживая последние дни, в полузабытьи, звала Нина не дочь, не мужа, а сестру: «Аксюта, подойди. Аксюта, ну что тебя так долго не было…»

Время стёрло их разные одинаковости, окончательно примирило, и ушли они поочерёдно в мир иной как никогда родными и самыми близкими друг другу.

Жердевы

Отчиму моему посвящается

Отчим появился в нашей неполной семье случайно. Шёл послевоенный 1946 год. Отлежав в госпитале во Владикавказе до полного выздоровления, возвращался Матвей домой, в Среднюю полосу России. Но дома как такового у него не было давно. Родители рано умерли, с пяти лет он рос в семье старшего брата. Жена брата, Нюша, была доброй, мягкой женщиной, но ей, с двумя детьми, со всем хозяйством, не хватало времени на воспитание деверя: рос он сам по себе, как трава в поле. У Матюхи была одна обязанность – пасти гусей. Там, на пруду, на взгорьях, в скошенных полях – полная свобода. Чуть ли не с десяти лет научились пить сивуху, играли в карты на гуся: закусывать же надо чем-то. Кое-как опаливали проигранную птичку в костре, выдёргивали самые крупные перья, а потом, положив сверху охапку мокрой травы, засыпАли жаром. Печёный гусь! Такого вкусного мяса Матюхе не приходилось есть больше нигде.

Поезд шёл, останавливаясь не только на больших станциях, но и на полустанках. В окно старший сержант увидел смешное название – Овечка. Вышли из вагона, шутили, смеялись: почему не Овца или, скажем, Баран? А вот Овечка – и всё тут. И вдруг подумалось, может, и живут здесь весёлые, не отягощённые жизненными заботами люди, раз они дали такое необычное имя тому месту, где они поселились, не задумываясь о красоте и правильности этого слова.

Услышав пронзительный свисток паровоза, неожиданно для самого себя вбежал в вагон, схватил с верхней полки вылинявший вещмешок с немудрёными пожитками – и вышел. Поезд отошёл, и не было ни сожаления, ни тоски: солдата никто нигде не ждал.

Война застала его в армии, на учебном корабле в Ленинграде. Потом долгая осада города. Корабль, разбитый немецкими бомбами, затонул, а старший матрос Жердев Матвей Антонович оказался в морской пехоте в звании сержанта. Со своей частью дошёл до Одера. Переправа была страшной – под взрывами снарядов и свистом пуль. До берега добирались вброд, по пояс в ледяной воде. На жёсткой обледенелой земле невозможно было поднять голову, лежали, не чувствуя холода, часа три. Потом вдруг стало как-то тихо и совсем не страшно. Веки начали наливаться свинцовой тяжестью – спать, как хорошо спать…

Очнулся в госпитале. Контузия. На одно ухо оглох полностью. Обе ноги забинтованы. Обморожение.

Долгий, казалось, бесконечный путь во Владикавказский госпиталь. Левую ногу спасли, на правой ампутировали пальцы до середины стопы, натянули кожу и зашили. Осталась культя.

Погрустнел солдат: красавцем он не был по своему роду – маленького роста (невысокого – это бы куда ни шло!), нос – на семерых рос, а одному достался, а тут ещё война прибавила изюминок – глухой и хромой. Кому такой нужен?

Медсестра в перевязочной, несмотря на адский, без единой минуты отдыха труд, находила в себе силы сказать каждому что-либо весёлое, доброе.

– Не горюй, солдат, ещё не одна баба по тебе сохнуть будет, а с такой ногой не то что бегать – танцевать можно.

И ведь она попала в точку: до войны умел танцевать Матюха как никто – отчаянно, до побледнения и очень по-своему. В этом деле он был солистом.

А ты, случаем, не одинокая?

Нет, милок, есть у меня мужик, все части тела на месте, а вот характер война начисто испортила, взрывной, как порох, а если что не по нутру, то и залепить может.

– А я бы тебя не бил…

Медленно проплыл последний вагон поезда, открыв ближайшую картину села со смешным названием Овечка: два ряда улиц, уходящих прямо от вокзала до виднеющегося в конце пригорка. Припадая на правую ногу, с костылём в руке, вошёл в первую же улицу. Аккуратные хатки с палисадниками, дурманящий запах первоцветов, тёплый ветерок и много, много солнца. Совсем иной мир, не такой, как на далёкой его родине – Курской области. Хуже или лучше, не пытался оценивать. Просто всё другое.

Дорогу стала переходить молодуха с пустым ведром. Остановилась – чтоб тебе, солдат, не пусто было.

Вы до кого идёте? – поинтересовалась она.

Дык я так, сам по себе.

О, да ты из кацапщины к нам забрёл. Если не до кого идти тебе, то пойдём покормлю, небось голодный.

Покорно пошёл следом. А что делать бездомному израненному псу: кто поманит, за тем и пойду.

Накормив борщом, дала понять, что можно остаться, на пока, по крайней мере. Разговор как-то не клеился. Сказала, что с мужем разбежались ещё до войны, выпивоха был хороший. Сын больше у бабушки живёт, потому как она, мать, целыми днями в поле на работе.

Спал Матвей в маленькой кухоньке во дворе. Рано утром скрипнула калитка, появилась озабоченная хозяйка, надо полагать, ночевала у матери. На голове повязана косынка, скрывающая весь лоб до самых бровей, лицо густо намазано мазилом – пахучей самодельной мазью, которую делали торговки для защиты от солнца. Быть загорелой на селе считалось некрасивым, вот и ходили по полю бабы в белых, с голубоватым оттенком масках, делающих всех одинаково неприглядными и пугающими.

– Ты без меня тут что можешь сделай во дворе, пока я вернусь, – громко говорила женщина, обращаясь к поночёвщику, который, приоткрыв дверь, тут же почему-то захлопнул её (баб боится, что ли, этот солдат?) – Дверь перекосилась в сенцах, плохо закрывается, – продолжала она. – Топор, тяпки, лопаты – всё тупое, как у хозяина зубы. Да тут много чего надо. Точило на завалинке лежит.

И ушла. – Во, опростоволосился, дурень, – корил себя Матвей, – я ж её не признал такую намазанную.

Остался один во дворе со своими мыслями. Муж был выпивоха… Знала бы ты, что твой случайный знакомый знает толк в сивухе с самого детства. На фронте тоже спиртом и лечили, и дух поднимали. Попадись в руки сейчас стаканчик вожделенной влаги, не хватило бы никаких сил отказаться от неё, сладкой заразы.

Хы-ых! Точило там где-то лежит… Я его в глаза не видел, и как его надо в руках держать, чтоб оно точило, тоже не знаю. Работу надо начинать в настроении, а появится оно, как только пропустишь рюмочку, другую.

Поковылял на вокзал, должен же быть там буфет. Любители живительной влаги нашлись сразу же. На столике появилась хамса и поллитровка с мутным самогоном. Но засидеться не дали – буфет закрывали на перерыв.

Вышли. На перроне было много женщин, ждали пассажирский поезд, чтобы продать молоко, яйца, картошку. В толпе глаза остановились на одной. О! Ты посмотри, Матюха, какая бабёнка! Как сдобная булка! Видно, война прошла мимо неё, не обдав ни холодом, ни голодом.

В руке небольшое ведёрко с яйцами. Разговаривая с бабами, всё время улыбается, другой рукой придерживая раздувающийся от ветра подол. И так всё в ней ладно.

Объявили прибывающий поезд. Бабы засуетились, озабоченные, стали подходить к самому краю перрона. Она осталась там же. Как его сорвало с места, как очутился рядом, не помнит.

– Меня Матвеем зовут.

– Нина.

Имя такое же тёплое, мягкое, как сама. Это ж совсем не то, что какая-то Раи-и-са (спасибо ей за борщ и за ночёвку).

Нина жила с шестилетней дочерью у родного дядьки на кухне. Любил Зенец выпить, но дело своё знал, мастером был на все руки: хороший кузнец, хату, кухню, сараи построил своими руками. Племяннице обещал помочь обзавестись собственным жильём. Заготовленные балки, доски уже лежали во дворе у забора.

Увидев входящего гостя, тётка, жена дяди, остолбенела: «Господи, да где ж ты его такого взяла?», – говорила она всем своим видом.

– А это, познакомься, моя дочка, Шурой зовут.

Девчушка, застеснявшись и не выдержав прямого заинтересованного взгляда чужака, боком отскочила в сторону, схватила маленькую табуретку и начала деловито переставлять её с места на место – не видите, что ли, занята делом.

Дня через два вернулся с раздобычи дядя Вася, с уклунком кукурузы. Накачанный тёткиными впечатлениями о примаке, зашёл на кухню, вопросительно посмотрел на племянницу, слегка вскинув голову кверху – показывай, дескать, своё сокровище. Нина приложила палец к губам. Сокровище лежало на кровати, с головой накрытое байковым одеялом, под которым чуть бугрилось свернутое в калачик тело. Дядька медленно перевёл взгляд с кровати на племянницу: какого роста и веса должен быть человек, чтобы вот так, как подросток, просматривался через одеяло?

Нина шёпотом стала спрашивать совсем о другом: как там наши на хуторе, отелилась ли корова?

Дня через два, собравшись с духом, дядька выдал:

– Ну вот что, племянница, раз нашла себе хозяина (приударил на этом слове), то пусть он тебе и хату строит. У вас теперь семья, и жить вам надо самостоятельно.

На соседней улице нашли комнату, вход в которую был через хозяйскую кухню.

Стали на тачку складывать скудные пожитки.

– Ой, Мить (имя Матвей было непривычным в здешних местах), я забыла тебе показать, у нас есть ещё одна Шурка. Матвей недоумённо заморгал маленькими углублёнными глазками. Ни о чём не спрашивая, поковылял вслед за Ниной к сараю, рядом с которым был построен базок. В нём, развалившись посередине, похрюкивала свинья.

Вот, это наша Шурка.

Дык, как же так – и свинью и дочку одинаково?

– А что ж такого плохого в свинье? Это сало и мясо. Не у всех и есть такая живОтина. К Ноябрю, если всё благополучно обойдётся, и подвалим. Самый сытный праздник будет у нас.

Трудно было с таким мнением не согласиться, и всё-таки…

Мать даже не догадывалась, сколько обиды накопилось в душе её малолетки из-за того, что и она, и свинья – Шурка. Не досчитавшись тряпичных кукол, троюродные сёстры, Любочка и Валентина (только так их называли) всегда находили одну виновницу пропажи: это Шурка-свинья утащила маленького куклёнка, больше некому.

Любочка и Валентина – самые умные дети на свете, ими любовались, о них постоянно говорили с упоением и восхищением. Нинкина же дочка и для детей, и для взрослых просто Шурка, иного варианта имени не очень близкие родственники, наверное, не знали.

На квартире у Синицыных прожили недолго.

– Дочка ваша постоянно бегает туда-сюда, дом выхолаживает. Митяй подопьёт – маты через стенку слышно, хоть уши затыкай. Не нужны нам такие.

Куда ж вот «таким» деваться? Нина, переговорив с Митькой, решила вернуться на хутор к родителям. А там, бог даст, придумаем что-нибудь вместе.

Тёща с первого взгляда невзлюбила неказистого зятя.

– О! Каленик явился.

Что обозначало это слово, никто не знал, но явно оно было не хвалебного плана. Каленик мог не отрываясь выпить литр молока и даже стакан постного масла проглотить не моргнув, и ничего ему от этого не было.

Вскоре общими усилиями насоскребав денег, дёшево купили хату напротив. Она стояла необычно – глухой стеной на улицу, таких на хуторе было мало. Все окна выходили во двор; оно вроде бы и неплохо: хозяйственные постройки на виду, восточные ветры не задувают в старые рассохшиеся окна, и во дворе уютно и тихо, к тому же для непрошеных гостей расположение не сулило удачи, а воров в послевоенные годы водилось немало. Чуть ли не каждое утро появлялись новости: у кого-то корову увели, у других кур поворовали, у глуховатых стариков, повесив кобелька на дереве, свинью утащили.

Внутренние покои наводили тоску. Открыв дверь в сенцы, надо было прыгнуть вниз на добрую четверть метра; гостей предупреждали, ну а незнакомые в темноте валились с ног и тут же давали о себе знать тупым ударом головы в дверь комнаты – хозяева дома? СлОва «комната» хуторяне не знали; если таковых было две, то говорили: пойди в ту хату (в другую) и принеси то-то. Дети обычно спали на печи, а взрослые – в той хате. Видно, хозяин, строивший это жилище, носил соломона за пазухой, потому как тать в нощи чёрта с два разберётся, где что находится. Например, дверь в сарае, пристроенном к хате, закрывалась изнутри, и хозяин проходил в комнату через небольшую дверку, прикрытую шторкой. А зимой-то какая блажь: не надо ночью через двор идти, чтобы присмотреть за стельной коровой. Нина нарадоваться не могла такой хитрости: не одеваясь проведала коровку – и в койку.

Митька без привычки раза три катился мячиком в сенцах и, минуя дверь, доставал лбом кадушку с рушеной кукурузой. Но со временем освоил все закоулки и проникал в комнату без трёхэтажных устойчивых выражений

Каленику, по мнению тёщи, уже давно надо работать, а он всё ходит насвистывает, курский соловей. Нина пошла к бригадиру.

– Возьми, Алексей Кузьмич, моего на работу.

– А куда я его поставлю? Разве что на быках фураж подвозить?

В первый день на работу вышли вдвоём: бывший морской пехотинец должен был пройти практику под руководством жены, выросшей в колхозе, – научиться надевать ярмо сразу на двух быков. Показалось легко и просто настолько, что на следующий день Митька с лёгким сердцем отправился зарабатывать хлеб самостоятельно. Как потом рассказывали мужики, на общем дворе около часа длилось бесплатное представление. Быки не обращали на орущего мужичонку никакого внимания. После того как он с трудом выставлял их вместе, эти животные не хотели ждать, пока им водрузят на шею ярмо, спокойно расходились в разные стороны и как ни в чём не бывало щипали травку. И начиналось всё сначала. Одному быку всё-таки успел нацепить на выю бремя колониализма, но оно, пока Митька искал вторую занозу (штырь), не закреплённое, другой стороной свесилось к земле, оставив свободным пАрного быка. И тот, почувствовав волю, снова пошёл на вкусную зелёную травку.

Мужики, толпившиеся в ожидании разнарядки, рвали животы от смеха, а горе-погонщик в гневе никого вокруг не замечал и гнул маты на головы тупой скотины.

Наконец, не выдержав, Митька бросил проклятых животных посреди общего двора – один в ярме, другой пасётся – и ушёл домой.

– Пусть они тебе все попередохнут, я больше туда ни ногой, – зло ответил он на немой вопрос жены.

После долгих переговоров с бригадиром определили мужика-неудачника в первую бригаду чабаном. Так старший сержант, командовавший на фронте отделением, оказался на чабарне, в семи километрах от дома. Пасти гусей и пасти овец – занятия разные, но не настолько, чтобы не справиться с новой должностью. Постепенно привык, голос у быв-

шего командира, несмотря на его рост – полтора метра вместе с шапкой, – был зычный и почти левитановский. Овцы, хоть и считаются животными далеко не умными, оказались послушными, не в пример тем проклятым быкам, будь они неладны.

Ну что, Митяй, с отарой легче справляться, чем с быками?

Мать их в дышло, ваших быков, – в сердцах отвечал новоиспечённый чабан.

Одна была трудность – целый день на ногах, а культя всё ещё ныла, иногда кровоточила от неудобной, неприспособленной обуви.

Зато вечером настоящий отдых и полное расслабление: выпивка у чабанов никогда не переводилась, а закусь – вот она, свежая баранина, которую разрешалось употреблять в пищу, в определённом количестве, конечно. Но это количество по-разному понималось работниками животноводства и правлением колхоза, и его хватало не только самим пастухам, но и их семьям.

Нинка же – во, дурная баба – нос воротила от баранины, дескать, пахнет не так, а в её понятии, воняет овцой. А чем же такое мясо должно пахнуть? Непонятный народ – эти бабы!

Чабаны по сложившемуся распорядку приезжали на выходные домой на бедарке, небольшой тележке, рассчитанной на два человека, с высокими рессорами. В неё запрягалась одна лошадь с двумя параллельными оглоблями по бокам, соединёнными дугой. С виду она была невелика, но довольно вместительна. Под деревянное сидение обычно прятали мешок с комбикормом, всё остальное пространство забивали сеном, травой, дровишками – в общем, тем, что нужно в хозяйстве. Наш же «хозяин» приезжал домой, ничем таким не отягощённый. Лошадь кормили остатками своего же сена.

По виду седока сразу можно было определить степень опьянения: шапка-ушанка была повёрнута на голове так, что одно «ухо» торчало прямо над переносицей, и с него свисала завязка, поворозочка, так сказать, покачиваясь маятником перед глазами. Чёртова шапка выдавала Митяя с головой, да и сам он не пытался уже казаться трезвым. Заехав во двор, продолжал смирно сидеть в бедарке, ибо слезть самостоятельно с неё не мог. Выбегала Нинка, с руганью стаскивала его с сиденья и оставляла на земле, а дальше уж он кое-как вползал в хату. Чтобы не слышать крика неуёмной скандальной бабы, курский соловей начинал свою любимую:

– Эх ты Ладога, родная Ладога…

Громко пел, надо же перекричать эту дуру. Наутро просыпался весь смирный такой.

– Дык, чего ругаться-то, ну дурак, ну хватил лишнего, оно ж такое дело… Ну хочешь, на колени стану, хочешь – станцую.

И, припадая на правую ногу, боком кружил по хате, выбивая дробь руками и на груди, и на животе, и на ляшках. Потом, став на одно колено, часто бил ладонями по земле и реже по губам, вытянутым в трубочку.

Невозможно было, глядя на такое повинное действо, не улыбнуться. А раз улыбались, смеялись, значит, простили. Более того, развеселившись и подобрев, жена на похмелье подносила усердному танцору рюмку, а то и две из своего постоянного запаса.

Был у неё грех: до глубокой старости варила самогонку. И получалась она, по отзывам мужиков, знающих толк в этом зелье, отменная – чистая, как слеза, без сивушного запаха и обязательно такой крепости, что с трудом проглатывалась.

– Мам, ну не варите вы эту заразу, – со слезами после очередного скандала упрашивала рано повзрослевшая Шура.

– Ой, дочка, хай лучше дома напьётся, чем где-нибудь искать будет.

Митяя такое мнение устраивало вполне: он успевал везде – и на стороне, и дома.

Иногда после ругани, а то и потасовки мать прятала самогон в самое надёжное место – закапывала четверть в землю (четверть – потому что вмещалось в бутыль четыре литра).

– Чего глазами водишь за мной, не варила уже давно и варить не буду.

– Брешешь ведь, есть она где-то, носом чую.

– Да чтоб он тебе отпал хоть наполовину, нос твой.

Нинка, чтоб не слышать надоевших уговоров и просьб, уходила со двора то к соседям, то к родственникам.

– Ладно, сейчас сами поищем, авось чего-нибудь раздобудем.

Брал в руки вилы, подходил к тем местам, где земля была рыхлой, не заросшей травою и бурьяном; осторожно втыкал их, прислушивался, не цокнет ли. Однажды, после долгих поисков, потеряв всякое терпение и надежду на удачу, стал наугад с силой загонять острые тройчаки в землю. И вдруг – цок! А вилы продолжали уходить вглубь. Боже мой! Стал на колени и начал пригоршнями тихонечко выбирать перепревший, почти сухой навоз. Добрался-таки до четверти, разбитой и совершенно пустой. Всю до капельки впитала в себя унавоженная земля, остался один дразнящий запах.

История разведывания почвы повторялась из года в год, всякий раз сопровождаясь новыми приключениями. Так и прожили жизнь два человека: одному надо было пить, а другому варить это проклятое зелье.

В течение тридцати лет проработал Матвей чабаном. Не застал он того времени, когда работникам «на штату» – дояркам, скотникам, чабанам, птичницам – существенно повысили зарплату. Все три десятка лет просидел, как и все в те годы, на минимуме. Чуть больше платили, когда отправляли отары на выпасА, обычно в районы, близкие к Кубани. По полтора-два месяца чабаны не бывали дома, но приезжали с деньжатами.

Мать суетилась, ждала, строила планы: можно будет подкупить материи на платья да на кофточки, совсем за лето поизносились. Дочь давно мечтала о крепдешиновом платье.

И вот явился, соколик, как всегда, пьяненький.

– Нате вам, девчата, носите на здоровье.

Вытащил из мешка довольно объёмный свёрток, небрежно бросил на кровать. Сам поспешно вышел, ну мало ли зачем, человек с дороги. Развернули, смотрели с минуту молча, пытаясь понять, для кого всё это прикуплено.

Как, для кого? – Тёще, жене и дочери.

Три одинаковых байковых халата огромного размера. По грязновато-жёлтому полю зелёные клеточки и кружочки. Как потом определила Нина, цвета детского поноса. По размеру халаты подходили только ей, она была полной, упитанной женщиной. Баба Дуня, преклонного возраста худощавая старуха, вполне вмещалась в сорок восьмой. Ну и семнадцатилетней Шуре тоже полагался пятьдесят шестой, наверное, на вырост.

– А деньги где?

– Дык, какие деньги, вот же купил вам, носите.

– Где ж, паразит, у тебя глаза были, когда ты их покупал? Хала-аты он привёз, это не халаты, а так – не пришей п… рукав, как ни крути, всё не подходит.

– И-ых! Во, дура, и как у тебя язык поворачивается такое говорить! Стара-ался, выбира-ал, спешил обрадовать…

Видя, как мать сгребла в кучу обновы, поспешно отошёл к двери и выпорхнул, как птичка, во двор.

Но что делать, дарёного коня пришлось приспосабливать как кто мог. У Нины это была спецформа для коровника. Марта любила лизать хозяйку в мягкой и привычной для глаз одежде – зелёненькие цветочки по жёлтому полю, как выглядывающая травка из сплошного поля сурепы.

Тёща – разве ей угодишь? – только примерила обнову, потом, поразмыслив, сшила из неё две наволочки для дедовой подушки – не маркие и стираются хорошо.

Шуре же, урезанный со всех сторон, украшенный зелёными атласными лентами на рукавах и внизу, халат прослужил добрых два десятка лет.

Но дольше всего жила и живёт незлобивая, добрая память о грустно-весёлой истории в семейной жизни. Огорчение было совсем недолгим, смех и весёлость долгие годы тешат душу, прибавляя телу здоровья и силы.

По приезде на Кубань в далёком 46-м году Матвей, став на учёт в военкомате, получал пенсию по инвалидности только в первые два года. Ежегодно надо было проходить комиссию, подтверждать группу. Понимая глупость государственных законов в отношении защитников родины, лишившихся в годы войны каких-либо жизненно важных органов, не выдержал бывший морской пехотинец. Как всегда, в подпитии, взбунтовался:

– Зачем вы меня гоняете по этим комиссиям? У меня что, нога может отрасти?

Не шуми, мужик, не мы это придумали, против закона не попрёшь.

– Да пошли вы со своим законом, я ещё сам себя могу прокормить.

И кормил себя и семью, не пользуясь подачкой государства, до шестидесяти лет. Назначили колхозную пенсию в размере 20 рублей (минимальная была 12)

Беспокоилась и переживала Нина.

– Шура, дочка, да повези ты его в район, в военкомат, должны же там сохраниться документы, ему ведь положена военная пенсия.

Дождавшись тепла, решили попытать счастья. Матвей собирался тщательно, приобулся в новые чувяки, набив правый носок обуви газетой. На старые, с завязочками и задранным носом, жалко было смотреть. От одной мысли предстать перед начальством и что-то доказывать сердце у мужика начинало биться реже, и поселялась в груди долгая тревога.

К тому времени Шура, закончив педагогический, вышла замуж, имела двоих детей. Как могла, успокаивала отчима перед дверью военкомата: всё, что нужно, она расскажет сама и спросит, ему надо только присутствовать.

Военком недоверчиво посмотрел на просителя.

– Как это ты не получал пенсии?

– Дык, не приезжал на комиссию, вот и не получал.

– Сейчас выясним, воевал ты или нет.

Матвея затрясло от спокойных слов этого уверенного в себе, сытого военкома. Машинально тряхнул правой ногой – башмак легко слетел, обнажив культю в подшитом носке.

Вот же я и ногу на фронте потерял…

– Ты мне, дед, свою ногу не показывай, может, ты её топором отрубил.

Шура не дала продолжить унизительный разговор самонадеянного начальника с жалким, растерянным человеком, когда-то поднимавшим своё отделение в атаку, но совершенно бессильным перед мирным хамством.

Почему Вы, не зная ничего о человеке, оскорбляете его?

А я и говорю, сейчас всё выясним, – нисколько не смутившись, отвечала спина, согнувшись над картотекой.

В голове защитницы мелькнула мысль: не надо пререкаться с этим гадом, может ведь специально ничего не найти, доказательством могли стать только бумаги, у отчима же не было ни военного билета, ни партбилета. Всё растерял по пьянке.

Но, к счастью, вершитель судьбы человеческой искал недолго. Нашёл карточку, вслух начал читать, называя фронты, на которых воевал, госпитали, где лечился, какие награды получал.

Ладно, дед, не обижайся, я тут всяких насмотрелся: отрубит себе палец какой-нибудь прощелыга, явится и тычет под нос – вот я воевал, пострадал…

Да что ж Вы всех под одну гребёнку стрижёте? – осмелела Шура.

Никак не реагируя на сказанное, будто и не ему говорили, как ни в чём не бывало стал объяснять, что нужно сделать, чтобы оформить военную пенсию.

Вышли из военкомата: Матвей с ещё не прошедшей бледностью в лице и помаргивающим от волнения глазом, Шура – удовлетворённая, что всё-таки помогла отцу, не зря съездили.

Папань, а как получилось, что у вас (в селе родителей тогда принято было называть на «вы») не оказалось никаких документов на руках?

– Дык, помнишь, мы с матерью то ли во второй, то ли в третий раз расходились из-за пьянки, когда она мне свинью отделила?

О-о! Как такое можно забыть! После очередного скандала мать заявила, что терпению её пришёл конец, давай, мол, расходиться. Хата моя, родители помогли купить; ты себе забирай свинью, а нам с Шуркой останется корова. И чтоб духу твоего здесь не было!

Матвей, уже протрезвев, молчал, сидел на завалинке, что-то связывая верёвками. Потом оказалось, что это была упряжка на свинью. Две петли, подведённые под передние ноги, связал на спине между лопатками и оттянул оставшуюся часть верёвки – получился длинный поводок. Свинья как раз была в охоте и будто сумасшедшая выбежала со двора на улицу. На поводыря жалко было смотреть: откинувшись назад, еле удерживая в руках натянутую верёвку, припадая на правую ногу, бежал он с прискоком за одуревшим от воли животным по хутору. Люди останавливались: такого чуда – свинья в упряжке – им не приходилось видеть. Тащила она, окаянная, своего хозяина до самого конца улицы, потом завернули вбок, как будто бы к пруду, где недалеко стояла свиноферма.

К матери во двор пришла соседка.

Послухай, Нинка, шось не то у вас делается. Митька вернётся, никуда он не денется, а вот свинью сожрут собутыльники за одну ночь и не подавятся. И кому от этого хуже будет? Да тебе же.

– Хай его черти возьмут вместе со свиньёй.

Ночь прошла без сна, в обиде и тяжёлых мыслях. Управившись утром с оставшейся живностью, зашла в хату. Как-то пусто стало, и делать будто бы нечего.

Чу-чу, зараза, чтоб тебе подохнуть, вымотала меня, сволочь, – услышала она знакомый гаркающий голос.

Открыла дверь: по двору бегала свинья, деловито обнюхивая все углы, потом, недолго думая, юркнула в брошенную настежь дверку сажкА – проголодалась, видно.

Со скомканной верёвкой и одним башмаком в руках стоял посередине двора её Митька, жалкий, запыхавшийся, потный весь и совсем трезвый. С минуту молча смотрели друг на друга: он – просящими глазами, дескать, хватит гонять меня; она – устало и уже без злости – ну что с тобой, дураком, поделаешь.

Свинья погуляла, к хряку её водил на ферму.

– Как же, води-ил, это она тебя водила.

Может, и она, дышло ей в бок, главное, что покрылась. Поросята вон какие дорогие сейчас.

– Ой, какие мы заботливые да рассудительные стали, может, таким и будешь?

– Дык, и буду. Не мори только голодом, дай пожрать, духу во мне не осталось.

– И-ых…

Вот тогда-то, когда тащила свинья Митьку по бурьянам, и потерялись документы. На другой день ходил искать, ничего не нашёл. Зашёл на ферму, где со сторожем провёл ночь, там тоже никто никаких бумаг не видел. Дома оставалась лишь трудовая книжка. В ней была одна запись – чабан бригады №1 колхоза «Заветы Ильича».

Правду говорят в народе: Бог бережёт детей и пьяниц. Уцелел на войне. Зимой, в пургу и жестокий мороз, не раз привозила его лошадь пьяного, полузамёрзшего, домой. Мать, причитая, оттирала его снегом, смазывала окоченевшие руки и ноги гусиным жиром. Отходил, живучий был. Уже не надеялся на военную пенсию, а вот будет всё-таки она у него, потому как ещё и везучий.

Нельзя сказать, чтоб Матвей совсем уж никчёмный был в хозяйстве. Нарубив в посадке прутьев, сделал плетень, и очень даже неплохой с виду. Но топлива, как всегда, не хватало, и мать потихоньку, помаленьку обламывала сухие хрупкие палочки, пока не кончалась изгородь. Несколько раз по весне сооружал хозяин новую загородь, да где ж ей удержаться, коли топка – солома, бурьян, корешки от подсолнухов – кончалась уже в марте, ну а потом – что где попадётся.

В редкие трезвые дни Нина подшучивала над мужиком, рассказывая байки про кацапов, к которым причисляли Митьку на хуторе.

Вот нашли два кацапа серп, стали рассматривать и думать, что бы это могло быть.

Ваньк, ет чё такое?

– Дык, не знаю, но точно это что-то куда-то лезет.

Привязал Ванька к ручке серпа верёвку и давай крутить вокруг себя. Не рассчитав, резанул другу по шее. Полилась кровь.

– Вот видишь, я же тебе говорил: это что-то куда-то лезет.

Митька слушал, добродушно посмеивался, мать же, рассказывая, хохотала.

Или ещё. Выросла у кацапов на крыше сарая трава.

– Ваньк, траву-то можно корове скормить.

– Дык, давай скормим.

Стали корову на крышу тащить. Дотащили до самого верха и пустили – ешь. Она же, дура, свалилась и сдохла. Ха-ха-ха!

– А вы, хохлы, лучше, да? – не выдерживает Митька. Да я с хохлом рядом с… не сяду.

А вот поди ж ты, живёшь с ними, хохлами.

После назначенной военной пенсии можно было бы и не работать. Перестали бедствовать, ещё и дочери могли выделить с полсотни детишкам на молочишко. Пасти овец стало совсем невмоготу, ныли фронтовые раны, больше всего нога донимала. Но сторожем-то можно… В колхозной ведомости значилась фамилия жены, а работал Матвей, зарабатывая добавку к минимальной пенсии своей хохлушке. Сейчас 12 рублей, а года через два рублей 15—16. И то хорошо. Но разве ж этот кацап, развесёлый курский соловей, может жить без приключений?

Ночью на колхозном току кого только не было. И пешком, и на велосипедах, и на телегах – кто как мог добирался к неблизкому злачному месту, потому как всем нужно зерно. Плата у всех одна – бутылка самогона.

Еле ворочая языком, звонил ночью председателю колхоза, дескать, ты, дорогой наш Лисичёнок, не беспокойся, старший сержант не спит на боевом посту. Председатель терпеливо выслушивал бывшего чабана, поддакивал, соглашаясь со всеми пьяными доводами, потом мягко сворачивал разговор.

Ладно, Антонович, мне пора отдыхать, а ты там построже со всеми просителями, гони их в шею.

– Есть, товарищ председатель, ни одной души уже нет, всех послал к едрёной матери.

Почему строгий председатель не принимал никаких мер к вечно пьяному сторожу, так и осталось непонятным.

Был на току ещё один сторож, степенный трезвый мужик, исправно выполнявший свои обязанности. В его смену ночные посетители почти не приезжали, так как Стуков не относился к любителям мутного зелья, а денег не предлагали.

Сторожить полагалось только ночью, днём работала небольшая бригада с завтоком.

Видеться сторожа могли только по воскресеньям: один уходил с ночного дежурства, другой заступал утром на сутки. За неделю этот весь правильный Стук (многие даже не знали, что он Стуков) собирал все претензии к Митьке, записывал, что ли, гад, в тетрадочку? Печку две ночи не топил, полы в сторожке не подметаешь, собакам кашу сварил два раза вместо трёх, ну

и ещё какие-то мелочи. Ну и зануда, этот Стук! Грозился председателю пожаловаться. Что ж тебе, паразит, такое устроить, чтобы отпала охота ябедничать на меня? И придумал.

Заступивший на смену сторож должен был вечером выгрести из остывшей за день печки жужелицу, засыпать новую порцию угля, чтоб горел до самого утра. Ну ж, брюхатый боров, я тебе устрою праздничное дежурство, долго будешь помнить. С субботней ночи дал печке остыть, открыл кружкИ и, усевшись на тёплую плиту, благополучно опростался.

Бедный Стук, и не пожалуешься ведь никому на этого хромого недомерка: смеяться-то будут надо мной, а не над ним.

Хотя Жердя и не бы свидетелем того, какая неудача постигла Стука при выгребании золы, но воображение подсказало очень точную картину, и Митька в самом весёлом расположении духа давал домашнее представление. Подпрыгнув, сделав брезгливую морду, стряхивал с растопыренных пальцев то противное и мерзкое, что оставил после себя в печке.

Насмеявшись до слёз, Нина сказала:

– Смех смехом, но ты, Митька, уже дошёл до ручки, надо тебе оттуда уходить.

Сама пошла в контору к председателю.

Александр Михайлович, рассчитайте с тока Антоновича, хватит ему чудить.

– Ну, раз Вы просите, – ответил председатель, широко улыбнувшись, – то так и сделаем.

На этом закончилась славная трудовая жизнь нашего героя. Непривычный к домашним делам, слонялся Матвей из угла в угол, пока не попадал под очередной обстрел жены.

– Митька, что ты бродишь, как неприкаянный, посмотри на нашу уборную: туда войдёшь, а оттуда можешь и не выйти – провалишься сквозь гнилые доски и не зацепишься. Уже давно надо сделать новую, дочка с детьми приезжает, справлять нужду в таком туалете – это ж рисковать жизнью.

Ну, завелась на воде… Вам что, кукурузы на огороде мало? На свежем воздухе, в затишке и при поднятии за бодылку держаться удобно.

Так кукуруза растёт только летом, а зимой что делать?

– Дык, до зимы ещё как до луны…

Два дня ходил вокруг покосившейся будки, присматривался, обдумывал. Наконец взялся за дело. Через неделю новый домик был готов.

Заходи, Ивановна, пробуй, как оно сидится на свежих досках.

Мать не заставила себя долго ждать, осторожно втиснулась в новый нужник, но вышла из него очень скоро.

Да чтоб тебе руки поотсыхали, мастер хренов, ну ты сам пробовал сделать всё, что положено при этом деле? Станешь подниматься, чтобы штаны подтянуть, – и головой дверь открываешь.

А раз дело сделано, так пусть она открывается…

– Сзади доски совсем не обструганные, я, пока наклонялась, всю задницу поцарапала, там, небось, десятка два колючек застряло.

Так становись в позу, будем вытаскивать…

Вскоре приехала дочь с детьми, а у бабушки, как гостинец, заготовлена очередная история, неизменно связанная с Митькой, теперь уже дедом, готовым отдать внукам последнюю копейку. Умела баба Нина, с серьёзным лицом, неизменно привирая, рассказывать что-либо смешное, отчего детишки смеялись до визга, не отставая от неё по полдня: бабушка, ну ещё что-нибудь вспомни.

Опробовав по очереди новый туалет, гости единогласно решили, что всё хорошо, стали наперебой хвалить деда, честно глядя ему в глаза, мол, бывает лучше, но редко. Ну, немножко маловат для бабушки.

Разбухла, как старая бочка, вот и не помещается, нашей бабушке корабль нужен для таких целей, – бурчал дед.

Будучи на пенсии, старики держали корову, как же без неё; сами как-нибудь обошлись бы без молока, а приедут гости – и варенички на столе, и маслице, и сметанка, да и уедут не с пустыми руками.

Прошло то время, когда, присев на корточки, Нина без особых усилий выдаивала корову, теперь же ноги болят, без стульчика никак не обойтись.

Старая, топором срубленная, расшатанная табуреточка уже никуда не годилась, того и гляди – развалится.

Дед, ждёшь, пока я угроблюсь на этой рухляди? Сделай новую, чтоб повыше и пошире была.

Долго ходил по двору, приглядывался, что-то искал. И нашёл.

На вот, сделал, как ты просила.

Мать, уставясь, пыталась понять, из чего сотворено это изделие и на что оно похоже: тумба не тумба, но и не стульчик будто… Оказывается, особо не мудрствуя, догадливый мастер взял остов от старого керогаза, обтянул его брезентом – вот тебе и скамеечка, дёшево и сердито.

По-твоему, это табуретка? – спросила жена, ткнув ногой брезентовый квадрат. – Это называется – наш Васыль вашей бабе тётка.

Митьку рассмешила оценка его труда, и всё же, добродушно похохатывая, на всякий случай отошёл в сторону. И то правда: за что взяться, чтобы перенести на другое место? Или двумя руками, или перекатывать ногой, как футбольный мяч?

Послушав бабушкин рассказ о дедовом изделии, внуки привезли из города сделанный с умом стул: невысокий, с просторным верхом, с широко поставленными ножками, покрытый лаком.

Стульчик же из керогаза до сих пор стоит в сарае, на него можно стать, доставая что-либо на верхних полках, на нём сидят, перебирая картошку, – в общем, вещь небесполезная и иногда даже очень нужная.

С годами пагубные привычки – алкоголь, курение – отошли сами по себе: болел желудок, пошаливала печень. Но под подушкой у Матвея всегда лежала поллитровка как успокоительное средство; пусть нельзя пить, а вот она рядышком – и мне от этого хорошо.

Мастер самогонного дела тоже прекратил свою деятельность, здоровье не позволяло таскать тяжёлое металлическое корыто, заливать брагу в огромный чугун, дышать целый день опьяняющими парами, от которых болела голова. А раковарка она, надо признать, была отменная (в селе до сих пор живёт синоним слову «самогон» – ракА).

Почти всю совместную жизнь прожили они под разными фамилиями. И лишь спустя 40 лет, незадолго до смерти, пошли в загс.

Теперь их могилы рядышком, под общим памятником, с одной фамилией на стеле: Жердевы…

Март, 2009 г.

Глава 2.
Все мы родом из детства

Квартиранты

Шурке было пять лет, когда они с матерью перешли жить к Дашке Лубенцовой. Как-то в разговоре с кумой Нина пожаловалась, как ей тяжко стало жить в семье, с тех пор как на свет незапланированно появилась дочка: своего рубля никогда не имела, потому что излишки продуктов продавала только мать, и деньги расходовались на всю семью. Получается, что теперь она как отрезанный ломоть, но в общем котле.

– Да переходи ко мне, мы с тобой равные – без мужиков, но с детьми. У меня, конечно, гавриков побольше, но, как говорят, где четверо, там и пятеро. Ну ещё свекруха при мне, баба Чечиха – бесплатное приложение. Но куда ей деваться, сын погиб, у неё только внуки и остались. В мои дела не вмешивается, не поучает, за детьми присматривает, когда я на работе, – в общем, она мне не помеха в семье. Хата у меня, как видишь, из одной комнаты, но она большая, поместимся.

Через неделю после разговора Нина со своим немудрёным скарбом и коровой перебралась к Лубенчихе. Шуру привёл за руку расстроенный дедушка.

Кровати для взрослых были расставлены впритык по всем стенам, Дашкины дети, кроме старшей, спали на печи, Нина вместе со своей дочерью – на полутораспальной сетке.

Стирать договорились всё вместе, потому что если уж разводить грязь – полы были земляные, – то желательно в один день. Ни у кого из детей смены одежды не было, кроме повзрослевшей шестнадцатилетней Таси. В день стирки их, голых, загоняли на печь и не выпускали, пока не управятся. Бабке Чечихе тоже дали работу, чтоб не путалась под ногами, – взбивать в четверти коровье масло. Свекруха уселась на краю печки, свесив ноги над плитою: и ногам тепло, и заслонка для голой оравы из четырёх человек. Дети бесились: места мало, где чья рука, чья нога не поймёшь. Никакие угрозы взрослых не помогали. Сидели тихо, пока Дашка, взяв в руки длинную хворостину, спрашивала:

– Кому там на печке тесно? Кто-то очень просится в угол на кукурузу. Ложитесь спать. Тася, почитай им что-нибудь, может, умолкнут хоть на полчаса.

Мы уже заканчиваем стирку.

Вскоре на печи опять образовалась куча мала. Кто-то толкнул бабку под локоть – и четверть выскользнула у неё из рук, разлетевшись на мелкие кусочки, перемешанные с жёлтыми крупинками почти уже сбитого масла. Тишина. Никто не смел пошевелиться от страха. Бабка заголосила на всю хату. Дашка, сердитая, с лозиной нарисовалась перед детьми:

– Ну-ка, голая команда, признавайтесь, кто толкнул бабушку.

– Шурка, – тихо донеслось с печи.

Нинка дёрнула за руку перепуганную дочку, выхватила у Дашки лозину и в гневе начала хлестать извивающегося голого ребёнка. Первой очнулась Дашка. Она вырвала из рук разъярённой матери хворостину, толкнула её на кровать.

– Ты что, сдурела, так избивать девчонку?

Исполосованную Шуру положили на постель. Ночью у неё начались судороги. Она кричала, вместе с ней навзрыд плакала Нинка. Бабка с какой-то тряпкой подошла к кровати.

– Это её младенским накрыло, вот возьми чёрный платок, накинь, ей легче будет.

– Да идите вы со своим чёрным платком, она что, умирает?

Нинка, завернув дёргающееся тело в одеяло, выскочила на улицу.

– Наверное, к бабушке Букатчихе пошла…

Местная шептунья, укрутив фитиль в лампе, зажгла в святом углу лампаду. Ничего не спрашивая, начала читать молитву: «Отче наш, сущий на небесах…»

Сама от напряжения стала икать, через несколько слов сплёвывала в сторону. Ребёнок утих и начал дремать. Бабушка спрыснула горящее тело святой водой. Вздрогнув, девчушка в полудрёме опять закрыла глаза.

– Ну всё, молодица, ничего мне не надо, неси домой, она будет спать до утра. Иди и проси у Бога прощения за свой проступок. Молись за здоровье избиенного младенца. Будет плохо – придёшь ещё два раза.

На другой день Шуре стало лучше. Её отпаивали горячим молоком, бабка Чечиха в своём сундуке нашла припрятанный сухой пряничек. Но к вечеру поднялась температура.

– Мам, – жаловалась возбуждённая Шура, – они меня зеброй дразнят.

Дашка подошла к печке.

– Если кто хоть раз произнесёт это слово, тот сам станет зеброй. Мне недолго снять с гвоздя лозину.

Дети молчали. Потом шёпотом стали искать виноватого:

– Это ты, Ванька, сказал…

– Да я такого слова не знаю.

– Знаешь, знаешь, нам Таська книжку про путешественника читала, там называли так полосатых лошадок…

– Не лошадок, а змею в капюшоне, – уточнила Валя.

– Вот дурьё, – вмешалась в умный разговор старшая Тася, – всё перепутали: змея в капюшоне – это кобра, а лошадка … – и закрыла рот рукой.

Нина ночью несла на руках теперь уже одетую Шуру к бабушке-спасительнице. Постучала в окошко. Пёс лениво гавкнул пару раз, не вылезая из будки, потом протяжно зевнул. Привык уже к ночным посетителям. Бабушка, похоже, и не ложилась, открыла сразу. Нина поставила на землю чурбачок с блестящими глазами: вязаный платок с длинными махрами перекинут крестом на груди, концы завязаны на спине.

– Ну, мамка, раздевай свою матрёшку, мы с ней пойдём в другую комнату и там пошепчемся. Правда?

Шура, не сопротивляясь, подала горячую ручку бабушке, и они ушли, закрыв за собою дверь. На часах-ходиках выскочила кукушка и дважды прохрипела – старая уже, наверно. Значит, полчаса прошло, как я тут сижу. Тихо. Спят они там, что ли?

Наконец бабушка вышла, лицо уставшее, из-под платка видны влажные волосы.

– Уснуло дитя, значит, на поправку пойдёт. Ты её не одевай, а заверни в наше одеяло, она на нём лежит. Завтра принесёшь. Вот ещё пучок травы возьми. На ночь искупаешь – и жАра не будет. Утром Нина пошла к родителям попросить для бабушки Букатчихи кусок сала. Там уже всё знали, рассказывать не пришлось.

– Мы с матерью посоветовались и решили так. Продай свою корову, а мы тебе тёлочку стельную дадим. Божок (фамилия – Божков) хату продаёт, недорого. Я с ним говорил, он согласен на часть оплаты. К весне подсобираем денег и рассчитаемся. Удумала по квартирам ходить. Да и к кому? – к Дашке пошла. У неё самой семеро на лавках сидят, да ещё ты со своей.

Нина молча слушала, кивала головой. Ушла повеселевшая.

В марте они с дочкой жили в своей хате.

Январь, 2012 г.

Беглянка

И память, и любовь, и жалость.
(Вячеслав Костиков)

Катерина с малолетней дочерью ушла из родительской семьи, переехала на временное проживание к дяде Платону, который обещал племяннице устроить её на железную дорогу, где работал его зять, по фамилии Неделька, помощником начальника станции. У Катьки была корова. Платон, мастер на все руки, сам соорудил телегу, все железные части сделал в колхозной кузне, где он работал. С неделю дядька обучал корову ходить в упряжке. Катерина обливалась слезами, когда непокорную скотину приходилось хлестать кнутом. Бедная Майка утробно ревела, пускала изо рта пену, пробовала задеть рогом своего обидчика. Но потом как-то сразу обмякла, смирилась, как человек с рабством, и спокойно пошла вместо лошади. Хозяйка никогда не садилась в телегу, шла рядом, похлопывала кормилицу по шее, лопатке, ласково уговаривала: «Иди, Майечка, иди, едем сено косить, чем же тебя кормить зимой?» В бричке сидела шестилетняя дочь, тоже Майка.

– Вот так, – размышляла Катерина, – дома не понравилось работать на всю семью, теперь горбатим на дядькину, да ещё вместе с коровой. Даст бог, устроюсь на работу, там в течение года дают одну комнату в ведомственном железнодорожном доме, со временем, глядишь, и свою халупу слепим. И заживу я со своими Майками самостоятельно, никому не кланяясь.

Луговые травы росли густые и сочные, правда, далековато от дома, километров за пять, а то и больше.

Катерина набрала скошенной травы, кинула возле телеги в тенёк.

– Сиди и никуда не ходи, тут ужаки и гадюки ползают, покусать могут, – наказывала она дочери.

Сама пошла на делянку. Размахивала косой по-мужски, широко захватывая прямую правильную полосу. Валки получались объёмные и ровные. Не прошла по длине и полного ряда, как захныкала Майка.

– Мам, меня комары кусают…

Подошла, помазала руки и ноги разрезанной сырой картофелиной, которую предусмотрительно положила в сумку с харчами.

– Ма-а-а, я воды хочу…

– Вот это мы с тобой наработаем, – раздражалась мать, – в другой раз будешь сидеть дома.

Но кому она нужна в чужом доме? Жена дядьки, узнав про завтрашний покос, начала подготавливать почву.

– Бери Майку с собой. Ей интересно будет ехать на бричке. А там на мягкой травке покувыркается…

Катерина сразу отгадала тёткину любезность. Да и на что обижаться – твой ребёнок только тебе и нужен.

Майка-корова, опустив голову, хрустела зелёным кормом, казалось, что она загребает своими толстыми губами всё подряд. Но если присмотреться, то не всё так, как кажется. Вот исчез молоденький кустик полыни. Обойдя какой-то бурьян, она с презрением выдрала с корнем разросшуюся тарелкой мать-и-мачеху; листья круглые, с одной стороны тёмно-зелёные, блестящие, с другой – с чуть розоватым оттенком, бархатные. Красивая, конечно, но гадость. Безжалостно раздавила копытом это несъедобное великолепие и пошла дальше, не поднимая головы. Ага, вот он, желанный и любимый злак. Подкашивая нижними зубами, она срезаАа его с шумным вздохом – ппырей, ппырей, ппырей. Хорош, но маловато. А тебя, молодой лопушок – на закуску, и только верхушка мелькнула около морды. Как бы мимоходом схватила

несколько веточек цветущего жёлтого донника: ладно уж, попробую, но оставлю на тот случай, когда совсем нечего будет есть. Попалась повилика со сладковатым запахом беленьких цветочков-однодневок. Вкуснятина, но добыть трудно – уцепилась за бурьян и траву, не оторвать. Вот когда хозяйка приносит целую охапку с огорода, тогда да-а. Молоко сразу прибавляется, распирая вымя. Остановилась, глубоко вздохнула: нахваталась досыта, можно и отдохнуть. Прилегла на траву, бок покато выпучился бугром, хвост без всякой команды хлестает по спине – мухи проклятые, спокойно полежать не дают. Уши тоже работают, отгоняя всякую мелюзгу. Глаза полуоткрыты, теперь челюсти работают – жую-ют, жую-ют, жую-ют.

Подошла маленькая Майка в пёстром платьице.

– Мам, а почему корова ест траву, а пахнет молоком?

– Спроси у неё, она лучше знает.

– Ты чё, мамка, не понимаешь, она же не разговаривает.

Шлёпая губами, в сторону: «Большая, а такая глупая».

Пора домой. Майка-дочка сразу повеселела – и комары перестали кусать её, и пить не хочется. Лопочет без передышки, но Катерине не всё слышно, потому что идёт она рядом с коровой, похлопывает по шее и пучком мягкого пустырника отгоняет с холки назойливых мух.

Два дня стояла неподвижная жара, а на третий стал задувать ветерок – как раз хорошо для сена. Не переворачивая, можно уже перевозить домой. Корову сегодня не выгнали в стадо – ей самой надо заготавливать корм на зиму.

– Тёть Дуся, я оставлю сегодня Майку дома, своим ходом она обратно не дойдёт по такой жаре, а везти её на сене опасно – свалится ещё.

Тётка растянула губы в ниточку, молча кивнула. И где вы взялись на мою голову? Этот дурень Платон готов всю свою родню сюда перетащить, а брата моего не жалует, лишний раз за стол не посадит.

Когда объявил, что его племянница с дочкой пока поживут с ними, Дуська устроила скандал, кричала, доказывала, размахивала руками. Платон, зная силу своего слова, молча выслушивал её, потом выдал:

– Ну, понеслась п… по кочкам, не остановишь. Всё сказала? Они приедут завтра. И попробуй хоть видом показать, как ты их «любишь», пойдёшь жить в сарай, там прохладно и мухи не кусают. Тебе всё ясно, рыжая курочка?

Майка, услышав, что её хотят оставить дома, моментально исчезла со двора. Катерина увидела её уже на выезде из села.

– Майка, вернись домой, по-хорошему прошу.

Мамка забыла ещё сказать: нашивай на жопу лубок… Что за слово такое? Может, – клубок? Но он же круглый, как его можно пришить?

Немного постояв сзади, «упрямый вылупок» опять пошлёпал по пыли следом за телегой. И тогда Катерина пошла на крайнюю меру. Подошла к сидевшей кучке пацанов.

– Отгоните девчонку назад по улице, только не бейте. Она ещё маленькая.

Перед Майкой сразу выросло трое оборванных разбойников, которых она боялась больше всех на свете. «Ма-а-а!» – закричала вслед уходящей матери, но она даже не оглянулась.

– А ну бегом домой, пестюльга лохматая, не то – получишь.

И все трое стали собирать на дороге камни. Майка в ужасе попятилась назад, потом побежала, истерично крича. Оглянулась, когда за ней уже никто не гнался. Что ж теперь делать? Баба Дуська злая, сейчас будет таскать её за вихры. Мать вернётся, тоже всыплет… Одно спасение – уйти на Первомайский, где они с мамкой жили. Там бабушка, с похожим, но другим именем – Дуня. Там тихая и ласковая тётя Надя, она никогда не ругается.

Несколько раз с Первомайского её отправляли к матери с молоковозом, дедом Стефаном. Бидоны на квадратной телеге с низкими бортами соприкасались и грохотали так, что в ушах

звенело. На молокозаводе Майка вставала и, почти оглохшая, сама шла домой, обходя чужих ребятишек – вдруг побьют. Дед Стефан, конечно же там, где ему ещё быть, думала Майка, направляясь к заводу.

– Нет его, давно уехал, а тебе он зачем? – спрашивала толстая тётка в длинном кожаном фартуке. – Приходи завтра часам к десяти, тогда и уедешь на свой Первомайский. Отпускают же родители малолеток из дома, и не боятся.

Дорога была хорошо знакома, и потопала она босиком по горячей пыли. Началась лесополоса из абрикосов, чистая, не заросшая, с утоптанной тропкой посередине. Так бы идти до самого хутора – прохладно и птички поют. Но около бугра посадка закончилась, на взгорье она пошла по открытому полю. Навстречу в клубах сероватой пыли ехала грузовая машина. Стало страшно – может задавить, вон как быстро мчится. Отошла подальше в сторону. Из окна, притормозив, высунул голову шофёр.

– А где твоя мамка, малява?

– Там, показала на кусты Майка.

– А-а, – протянул водитель и покатил дальше.

Дошла до Павловского, хутора с односторонней улицей. Хорошо, конечно, идти под тенью, но опасно, из-за плетня могут выбежать собаки, съедят, проклятые. Перебежала на проезжую дорогу. Но вот опять опасность – послышались крики играющей во дворе детворы. «Чужих всегда бьют», – подумала Майка. Снова вернулась на дорожку около заросших с улицы дворов и на четвереньках передвигалась до тех пор, пока не стихли голоса.

В конце хутора начиналось кладбище, где, по рассказам первомайских подружек, даже днём, особенно в жару, когда на улицах нет людей, покойники вылазят из могил, чтобы погреться на солнышке. А перед дождём они являются людям во сне. И правда, Майка не раз слышала от бабушки: «Всю ночь покойные родители снились, наверное, дождь пойдёт». Закрыв ладонью правый глаз, чтоб не видеть кладбища, быстро пошла по безлюдной дороге. Но кресты нет-нет, да и показывались впереди. Решила свернуть с дороги на гору, тогда опасного места не будет видно. Но тут появились другие страхи: по густой траве шныряли пузатые зелёные ящерицы. Даже одним глазом Майка рассмотрела, какое у них на шее монисто – частые выступающие иголочки по ровному кругу возле головы. Короткие лапы врастопырку, некоторые, остановившись, раскрывают страшные, белые внутри рты. Того и гляди, кинутся на голые ноги.

Наконец-то показался наш бугор, с которого спустишься и попадёшь прямо на третий порядок – короткую улицу около речки. Тут уже совсем нестрашно. Всех детей она хорошо знает, они не драчливые.

Дома никого не оказалось. На двери замок. Уселась на деревянный порожек да там и уснула. Открыла глаза – стоит тётя Надя, теребит её за плечо.

– Майечка, откуда ты взялась? А мамка где? Да как же ты, бедная, шла в такую даль, по жаре?

Пожалела, приголубила, накормила кукурузной кашей с молоком. Уложила голову на колени, долго искала куслючих вошек – тресь, тресь, тресь.

– Через неделю привезут от свекрухи Валю, дочку мою, ты ещё не видела её, будете вместе играть, помогать мне.

Утром Надя стала собираться на работу, рассказывала племяннице, что можно поесть: на печке ещё горячий борщ, остынет – поставишь на землю под лавку, там прохладно. Каша вчерашняя, молоко в крынке на столе, пей сколько хочешь.

Повернув голову, Майя увидела в окно мать, она уже переходила дорогу, сейчас появится.

– Прячься под кровать – шёпотом скомандовала тётя.

Только открыв дверь, не поздоровавшись, мать спросила:

– Майка тут?

– Ныма, ныма, да ты садись, отдохни, расскажи, как ты там живёшь у Трусенковых, – отвечала Надя каким-то изменившимся голосом.

– От, паразитка, я её счас убью, я ей покажу, как сбегать из дома. Это ж подумать – дитю шесть лет, а оно такое вытворяет, чего ж дальше ждать? Всю ночь не спали, где только не искали – как сквозь землю провалилась.

Надя, почти не слушая сестру, улыбаясь, тянула её за руку во вторую комнату, потому что в передней под кроватью сидела беглянка.

И вот они мирно беседуют, говорят о тяжёлой жизни. Надя рассказывает, что мать, бабушка Дуня, поехала в Спокойную повидаться с родными а заодно и разузнать, может, кто хату продаёт по сходной цене, тянет её на родину, говорит, мы там никогда соломой не топили, кругом лес, недалеко и речка. Катерина горевала, что одна, без родни тут останется.

Майечка – так хотелось, чтобы её и мать так называла – решила, что гроза миновала, можно незаметно выскользнуть в открытую дверь. Во дворе кудахчут куры, ласково трётся об ноги кошка, привязанный Ботик тянется к ней, хочет облизать лицо и руки. Хорошо здесь. Никто не называет её коровой, а ещё хуже – растянутая майка. Сразу представился дед Платон в этой самой майке, из-под которой выглядывают противные седые волосы. И зачем мамка дала ей такое имя? Когда пожаловалась тёте Наде на свою тяжёлую жизнь у бабы Дуськи, она погладила её по голове и долго говорила, какое у неё хорошее имя.

– Не слушай никого, это они из зависти дразнят тебя. Они знают, что майка – это ранняя вишенка, редко у кого в саду она встречается, созревает на радость детишкам, когда ещё никаких фруктов нет. Ты же родилась в мае, вот мамка тебя так и назвала, хороший весенний месяц: ещё не жарко, но уже и не холодно. Цветов много. Ты у нас майский цветочек. А ещё есть такая материя, тоненькая, нежная, тоже майя называется. В красивом весеннем празднике тоже есть твоё имя – Первое Мая, когда дети с цветами идут, а взрослые – с красными знамёнами.

Майе так приятно было слушать про то, какое у неё удачное имя. Она даже походку изменила, ходила по двору важно, представляя, что на ней белое платье из майи, а сама она – цветущая вишенка. Чтобы выглядеть, как взрослая девушка, под платье на груди подложила два помидора – ну точно Елька Смоленская, самая красивая из первомайских девчат.

– А ну, беглянка, собирайся домой, в обед корову надо успеть подоить. Скажи спасибо тёте Наде, я бы твои белые патлы с корнем повырывала. Давно не бита, вот и вытворяешь что хочешь.

Я и сегодня, спустя десятки лет, говорю ей – спасибо – чудесное благодарение, в составе которого есть слово Бог. Спаси Бог – говорили наши предки, приветствуя друг друга. Спасибо за то, что ты умела прощать и любить и непослушных детей, и очерствевших в тяжёлом труде взрослых.

Январь, 2012 г.

Галюня и дед

Умение сапожничать дед Иван перенял у своего отца, старого Кузьмы, сурового молчаливого мужика с заячьей губой. Колодки для пошива обуви он применял не всегда по назначению: иногда они догоняли кошку или забежавшего в открытую дверь кобелька, а чаще всего летели в сыновей-погодков, редко – в старшего Никиту, но постоянно – в младшего Ваню, кудрявого ягнёнка матери, с карими в крапинку глазами. Невинный агнец в устах не в меру строгого сапожника превращался в тупицу и непонятливого пустоголового барана, а его привязанность к матери определялась как «бабский подъюбочник». Злобность и излишняя придирчивость родного отца не давали возможности Ване приглядываться к сапожному делу, да и не подпускал хозяин к своему верстаку никого, кроме кОреша, знаменитого на всю станицу изготовителя модельных туфель и сапог для богатых казачек. А вот подишь ты, попробовал отпрыск самостоятельно сшить простые детские черевички с ушками, а дальше всё пошло как по маслу. Заказы у людей Иван брал редко, но своих обшивал с успехом и вовремя. Невысокий верстак с сапожными инструментами, под которым были выстроены в ряд колодки разных размеров, помещался в тёплой, отапливаемой комнате под окном. Этот верстак был притягательным и завораживающим своей недоступностью для пятилетней Галюни. Она подходила со спины деда тихо и медленно, любопытно уставясь на многочисленные железные и деревянные игрушки. И почему их не дают даже подержать в руках? Дед Ваня, наклонясь, делал вид, что не видит Галюню, а она, в свою очередь, задрав белокурую головку с кольцами кудряшек на затылке, время от времени внимательно смотрит в окно: я же просто здесь стою, любуюсь птичками и красными цветами на кустах. Рука её непроизвольно тянется к полке и уже чувствует холод и тяжесть изумительной игрушки с растопыренными узкими крыльями и раскрытым клювом, которым можно поклацать и напугать всех в доме. Дед Ваня медленно поворачивает голову, смотрит на внучку поверх очков долго и выжидательно. Шило, которое было у него в руке, вдруг скрылось в широкой ладони, а большой палец ограничил его остриё до самого крохотного кончика. И вдруг – коль! Галюню сзади сквозь ситцевое платьице. Ой, что такое? Что это сотворил дед своей сжатой почти в кулак ладонью? Галюня удивлённо смотрит на обидчика и роняет железную птичку с раскрытым клювом на земляной пол. «Дувак», – произносит она чётко, обиженно оттопырив губу с подрагивающим подбородком. Дед Ваня, задрав голову и широко раскрыв рот, хохочет, прижимая к груди колодку с набитой на ней красной кожей. Галюня, глядя на него и уже забыв про острый «коль» в попу, начинает и сама смеяться сквозь слёзы. Смех её доходит до всхлипываний и икоты, а дед всё закатывается, потом, прокашлявшись, снова сыплет бисером дробного смеха. – Папань, ну я же просила, не смешите Вы её, она потом ночью кричит во сне, – увещевает отца вошедшая в комнату Нина. – Да я ж, дочка, ничего такого и не сделал, – оправдывается дед Ваня, вытирая слёзы. – Сама она веселит меня, а деду как бальзам на душу. Нина уводит ещё всхлипывающую дочку, начинает умывать её святой водой и вытирать на пороге подолом исподней рубахи. К вечеру, когда уже плохо видно, дед Ваня ставит на свой верстак зажжённую керосиновую семилинейную лампу со стеклом, которая даёт длинные тени передвигающихся по комнате домочадцев. Галюне неуютно и скучно сидеть на топчане и надевать на скользкие кукурузные початки лоскуты-платочки, воображая, что это её непослушные дети. Лампа на дедовом верстаке притягивает её к себе как магнитом. Она сползает с топчана, оставив своих жёлтых холодных кукол лежать рядком – пусть поспят немного. В печке начинает трещать и ярко гореть бурьян, пламя которого греет Галюню, стоящую за дедовой согбённой спиной. Подойти поближе – опять дед сделает это пугающее «коль» и будет громко смеяться. Но дед неожиданно сам разворачивается лицом к ней. – Ну что, унучичка-сучичка, будем маршировать, как солдаты? Галюня хоть и не знает, что это такое, но охотно соглашается, часто кивая головой в радостном предчувствии дедовой забавы.

Выдумщик-дед разворачивает послушного ребёнка к себе спиной и, собрав в пучок длинное платьице, завязывает узлом на пояснице. Поставил ничего не понимающую Галюню рядом и скомандовал: – Ну-ка, шагай, как я: рраз – два, рраз – два! Галюня старательно выполняет команды деда, высоко поднимая коленки и смешно двигая голыми булочками детской попы. Теперь и все домашние начинают громко смеяться. А два «солдата», неизмеримые по росту, всё шагают по комнате, меряют её в разных направлениях, показывая милые детские прелести одного и неутомимый задор другого. И снова Нина хватает дочку на руки и уносит в неотапливаемую комнату, подальше от глаз развесёлых родственников. Назавтра выдумки у деда, похоже, иссякли, да и дочь достаёт своими упрёками

Галюня, поднятая дедом, стоит на подоконнике и водит глазами за курами, за мотающейся на цепи нервной собакой Хрынкой, за воробьями, стайкой осевшими на мякине.

Уморившись топтаться на тесном пространстве, она садится на край подоконника, свесив ноги в черевичках с ушками к запретному дедову верстаку. Одна нога чуточку касается большущего мячика с чёрными толстыми нитками. Стоило немножко вытянуть носок – и толстый, почти круглый моток полетел вниз, оставляя на земле блестящий смоляной след. Дед молча поверх очков уставился на Галюню, она с невинным видом – на него. – Та-ак, – подводит итог дед, – давай-ка, унучичка-сучичка, слезем с окна и пойдём отбывать наказание. «Опять «коль»? – думает в испуге Галюня. Но дедова ладонь пустая, не зажата в кулак, значит, шила там нет.

Посадив Галюню на плечо, дед выходит во двор и опускает её на местинку, буйно поросшую зелёным ковром спорыша. – Ну-ка, ложись на пузо – и руки-ноги – в стороны. Галюня, предчувствуя что-то новое и необычное, с радостью распласталась на траве. Дед крепко зажимает в своих ладонях руку и ногу с одной стороны туловища и начинает кружить вокруг себя. Галюня поднимается то выше, то ниже по кругу, и сладко и страшно ей в этом надёжном полёте, и приятно слышать успокаивающий и восторженный гик деда. – Ну как, голова не кружится? – спрашивает он Галюню, аккуратно уложив на траву. И она начинает вертеть головой, выясняя, кружится её голова или нет. – Давай теперь по-другому полетаем, – предлагает разохотившийся дед Ваня. Он берёт Галюню за ноги и начинает кружить вокруг себя волною, то приподнимая, то опуская почти до земли. Галюня визжит в страхе и восторге, и ей кажется, что она сейчас оторвётся и полетит сама высоко-высоко, а дед будет стоять на земле и махать ей рукою. – Дед, ты совсем с ума спятил, – кричит вусмерть перепуганная бабушка Дуня с порога.

– Хряпнешь дитя головой об землю – и что тогда? Да уймись же ты, пустоголовый! Пока дед с бабушкой переругиваются, Галюня лежит на траве, смотрит на облака, на пробивающееся сквозь них солнце и прячет свои детские чувства так глубоко, что они останутся в ней навсегда. Но иногда они всплывают, оставаясь ясными и зримыми.

Март, 2014 г.

Как дед лебёдушку ловил

Наша хата стоит у прогона, и получается, с одной стороны живём все мы, а с другой – дедушкина сучка, Надька Репкина со своими девахами. Меня уже записали в первый класс, а я боюсь взрослую учительницу, потому что взрослых я не всегда понимаю. Например, дед Ваня в хорошем настроении называет меня тоже сучкой, иногда унучичка-сучичка, и при этом гладит меня рукой и карими в крапинку глазами. Ни у кого нет таких глаз. Наверное, его глаза всем нравятся, и Надьке Репчихе тоже. Ещё бабушка называет её лярвой, я так понимаю, что это какое-то нехорошее слово, потому что ни дедушка, ни даже неслух Колька меня так не называют. В первой хате в правом углу, под самым потолком, у нас находится Бог, которого зовут Николаем Угодником. Я уже знаю, что Колька и Николай – это одно и то же. Так неужто нашего Кольку назвали в честь Бога? Богу, наверное, он сразу, с самого рождения не понравился, и Спаситель плюнул на него, вот и получился из пацана неслухмяный негодник. В простенке между окнами прибита четырьмя гвоздями картина, ну, небольшая такая картинка, величиной с деревянную доску, на которой бабушка нарезает лук и всякую огородную зелень. Мамка принесла это украшение от деда Зенца, бабушкиного брата. Они теперь стали богатыми, потому что зять, когда воевал с немцами, столько всякого добра им прислал, и эта картонка им стала не нужна. Дедушка долго рассматривал её, держа в шершавых руках то на расстоянии, то вблизи, потом, всмотревшись, прочитал медленно и раздельно, как читаю сейчас я. Первое слово я не запомнила, оно какое-то непонятное для меня и застревает во рту, не произносится. А дальше писалось о каком-то блудливом сыне. Сын стоял на коленях и был похож на старика. Перед побелкой бабушка не смогла отодрать картинку от стены и измызгала края известью. Дед ворчал и пытался оттереть влажной тряпкой, но сделал ещё хуже: рамка стала блёклой и слегка лохматой. Дед Ваня размашисто крестится перед иконой Спасителя лишь по святым праздникам, на Пасху или Рождество. Бабушка только тогда, когда дед куда-то надолго исчезал, вот и сейчас его нет, поехал на другой хутор за лебёдушкой. И я с замиранием сердца жду, когда вернётся дедушка и принесёт в руках большого белого лебедя, точно такого, как на коврике над нашей с мамкой кроватью. После того как все уснут, бабушка укручивает фитиль керосиновой лампы до самого маленького язычка и начинает молиться.

Я сажусь в угол на печи, поджимаю колени до бодбородка и, накрывшись рядном, жду, когда бабушка начнёт шептать молитву. Горячий верх печи не доходит до потолка на таком расстоянии, что туда можно просунуть голову и всё увидеть. На коменкЕ – так называют это место – пыльно и жарко, сразу начинает сверлить в носу и хочется чихнуть. Я быстро отваливаюсь назад, ладонями крепко прижимаю нос и чихаю внутрь себя, будто я где-то на краю печи и совсем-совсем сонная. Вторая попытка увидеть и услышать, как молится бабушка, оказалась настоящей удачей. Бабушка в длинной белой рубахе с распущенными волосами стоит на коленях и так усердно просит Бога, чтобы он дал здоровья её мужу, вывел его из заблуждения и направил на путь истинный. Верни его, Николай Угодник, в свой дом к родным детям и ко мне, грешнице Евдокии, матери и законной жене. Потом бабушка низко кланяется, длинные волосы сваливаются с плеч и пластаются по земляному полу шёлковой рыжей материей. Бог – человек жалостливый, а может, ему уже надоело выслушивать бабушкины просьбы, а ну если каждый день в уши – одно и то же, одно и то же. В полудрёме я слышу, как Бог разговаривал с дедушкой, так просто, как мужик с мужиком. Ступай, говорит, Иван, до своей хаты, а то Евдокия мне скоро дырку в голове сделает. Да и внучка твоя ждёт не дождётся, когда ты ей лебедя принесёшь. Твой младший, Колька, совсем от рук отбился: курить начал и, заметил я, в кузне с Омельяном Соколовым к рюмке стал прикладываться. Старшая, Нина, обещала матери, что больше не будет ломом удерживать тебя поперёк груди, мол, разбирайтесь сами

в своих делах. Ну, это при том условии, если ты к Репчихе по ночам не будешь шастать, а Дуне брехать, что на конюшне дежурил.

Дед, выслушав Бога, упал на колени, прослезился и обещал вернуться, как только поймает для внучки лебёдушку белую. А пока вот, мол, живу у одной доброй женщины, потому как в погоне за птицей простудился в холодном пруду и редко когда встаю с постели.

Бог согласился с дедовыми объяснениями и сказал: – Понимаю тебя, но будь же ты мужиком, побегал за лебёдушкой – и хватит, возвращайся домой, там тебя все ждут. И дед вскорости вернулся. Ночью, когда в хате все спали. Сквозь сон я слышала из той комнаты тихий голос бабушки, говорила она как-то странно, то ли всхлипывала, то ли смеялась от радости. Утром, высунув голову из-под фуфайки, я увидела дедушку с озарённым от печки лицом. Он ломал ветки акации и подкладывал их в огонь, который, как бы сердясь на деда, стрелял в него искрами. – Деда! – закричала я, выпутываясь из рядна под фуфайкой – Деда! Ты вернулся!

Дед поднялся, и я повисла у него на шее, ощутив тепло его рубахи и горячую щеку от пламени. – Дедуль, а лебёдушка где? В сарае? Пойдём посмотрим… – Ты про что, унучичка говоришь? Какая лебёдушка? – Ну ты же за лебёдушкой ушёл, я тебя так ждала… Приклонив мою голову себе на плечо, дед немного помолчал, раскачиваясь со мной из стороны в сторону. Потом уселся на свой сапожный стул, посадил меня на колени и стал тихо, напевно рассказывать. – Уплыла, окаянная, сколько я за ней ни охотился с сеткой. Быстрая и пугливая попалась. Однажды накрыл всё-таки хваткой, стал за хвост тянуть, но она так рванулась, что все перья у меня в кулаке остались. И улетела в самое небо, а там уж я её точно не достану. – А перья где, деда? – Ну перья я тебе покажу, конечно, я ж не думал, что они тебе интересны. Из той комнаты вышла бабушка, вся светлая: в белой батистовой косыночке, выбитой шёлком на лбу, в пёстрой кофточке с густыми малюсенькими розочками и длинной юбке в сборку. Подол заканчивался прошвой – блестящей сатиновой полосой, такой же рыжей, как её волосы. Я стала вспоминать, какой же праздник сегодня и почему о нём никто не говорил. – Ба, сегодня святой день? И пироги будете печь? – Да, унучичка, сегодня большой праздник. Называется он Возвращение блудного деда. А пирогов всегда можно напечь… Дед вначале сердито зыркнул на бабушку, и у меня сердце легонько забилось от волнения: неужто ругаться будут?

Но карие в крапинку глаза деда тут же потеплели, он хохотнул внутрь себя и стал усиленно ковырять кочерёжкой в печке. Бабушка павой проплыла к печке, открыла крышку на огромном чугуне, пощупала пальчиками воду и сказала, что уже можно спускать щёлок. Дед засуетился, сбегал в сарай и принёс в чашке золу от сгоревших головок подсолнухов. Золу вЫсыпали в небольшую полотняную сумку, опустили в тёплую воду и, подержав её там, стали вдвоём спускать щёлок: бабушка держала верх сумки, а дед своими сильными квадратными руками выкручивал и мял мешочек, с которого струйкой стекала мутная вода. В воде со щёлоком купали нас, детей, если мы где-то подхватывали чесотку или коросту. В воду добавляли ещё немного серы. Сейчас у меня на руках между пальцами не чесалось, кожа была розовой и чистой. Колька, прихватив с собой краюху хлеба с салом, с утра умёлся в кузню, мамка ушла рано на работу. Значит, купать бабушка собирается только деда. Видно, когда ловил лебёдушку, простудился и приболел, вода-то в пруду грязная, муляки там по колено… И как он только живым оттуда выбрался!

Мне разрешили слезть с печи, когда дед уже был одетый: сидел на лавке в чистом белье, и лоб с залысиной блестели у него как новая копейка. К обеду вся семья собралась за столом: примчался из кузни Колька, весь пропахший дымом, на обед пришла мамка с поля, от неё пахло пшеницей и свежим тёплым ветром. Как хорошо, когда все дома! Николай Угодник смотрел на нас добрыми глазами, и мне казалось, что лицом и серебристыми волосами он был очень похож на нашего деда.

Житейские перевёртыши

Я совершенно не помню детских ласк от моей мамы. Первое, что отложилось в памяти в моём «солидном» возрасте – это долгое дневное томление, ожидание матери с работы. Как и все домочадцы, я называла её Нинка, как ни втолковывали мне, что она мне мама. Я слышала короткое «ма» по отношению к бабушке, деда кликали папанькой, у всех остальных были имена без всяких там ласкательных суффиксов. Слово «мама» мне было просто незнакомо. Нинка приходила домой уже на закате солнца и очень редко среди дня. Я бежала ей навстречу, прятала лицо в подол юбки и, вцепившись в колени, вдыхала особенный мамкин запах – запах поля и всяких трав, которые она срубала тяпкой. Она на какой-то момент останавливалась, шершавой ладонью гладила мне шею на затылке и напевно причитала: – Ой, ковыла ты била, лохмата! Чи твои волосся кошенята сосалы, шо воны у тэбэ слыплысь?

Мамка по имени Нинка снимала с плеча тяпку с узелком в самом низу держака. Оставив меня, она усаживалась на порог хаты, и руки её, как плети, повисали меж коленями. Я же, примостившись на мягкой спорышовой местинке во дворе, ловко развязывала узелок, где всегда находила гостинчик от зайчика: кусок зачертвевшего хлеба или закруглённый остаток пресной пышки, тоже засохшей, она пахла жареным подсолнечным маслом и содой. По вкусу подаренный зайцем хлеб превосходил всякое бабушкино печево: духмяные караваи из печи, зарумяненные в масле крученые орешки или рябые пухлые пышки, которые она складывала одна на одну, выстроив слоёный столб. Бабушкино строение вскоре растаскивали «по кирпичику», такое оно было аппетитное. На летней печке во дворе уже был нагрет чугун с водой для купания. За густыми кустами вЕничья лежала боком длинная алюминиевая ванна. Нинка бесцеремонно хватала меня за руку и тащила в ванну, в которой я визжала резаным поросёнком, потому что мыло попадало в глаза, как ни старалась я их зажмурить и закрыть ладошками. Мучение моё длилось недолго, спасительным местом была широкая доска, специально подложенная под ноги, чтоб не оказаться «после бани» в грязи. Нинка быстро вытирала меня бумазейной пелёнкой, сначала жёсткой стороной, а потом мягкой и оттого казавшейся тёплой. Любовно шлёпнув по попе, отправляла меня от себя подальше: «Иди к бабе!» Но я, круголя обежав бабушку, находила деда. – Тет что ж такое? – наигранно возмущалась не способная к ласкам старая казачка. – Как пироги уминать, так все к бабе липнут… Дед Ваня бросал любую работу, усаживал меня на колени и со старанием заботливой матери расчёсывал мои «патлёхи». Брал с окна роговой прозрачный гребешок, на одной стороне которого были редкие зубцы, а на другой частые. Одному ему было ведомо, как ему удавалось без боли расчесать запутанные вьющиеся волосёнки. – Вот, сначала всё выпрямим редкой стороной, а потом густой пройдёмся и всех вошек вычешем. Мне было интересно слышать, как дедушка трескал на гребешке маленьких «козявок», и, если они не попадались, я заглядывала деду в глаза, приставая с одним и тем же вопросом «не поймал козявку?» – Ладно, мы их и без гребешка найдём. Он нагибал мою голову, шарил рукой по волосам и, вдруг остановившись, трескал над самым ухом, да так чутко, будто ломал тонкие сухие веточки для растопки печи. Я смеялась, разинув от восторга щербатый рот, подставляла голову ещё и ещё, а дед, разохотившись, наощупь трескал по всей голове. Никакая деталь внешности гадкого утёнка не ускользала от внимательных, добрых дедовых глаз: всё он заметит да так скажет, что и сам рассмеётся до слёз и до удушающего кашля. – О! Унучичка, отговаривал же тебя ехать со мной на речку за сеном, от кобыла и выпердела тебе два зуба! Слышала, как она старалась до самой речки? Ласточка, она такая, если чего не захочет, то хоть убей её, будет норовить сделать по-своему, а если не сделает, то обязательно навредит человеку. Это ж она не хотела тебя везти! А мне, норовистая худобина, в своей злости брыкнула задними ногами и копытом прямо по пальцу. И для убедительности дед показывает свой неестественно согнутый внутрь мизинец. – Ну ничего, вырас-

тешь, восемнадцатая весна всё плохое смоет, и будут у тебя зубки ровненькие и беленькие, как жемчужные мониста у панночки, а коса по спине болтаться длинная и толщиной в руку. Дедову хитрость с потрескиванием я поняла много позже и уже своим детям, которые в глаза не видели это зловредное насекомое, рассказывала о тех послевоенных годах, когда, избавившись от голода, люди долго не могли побороть педикулёз. Вши тогда были у всех, с той лишь разницей, что у кого-то их плодилось больше, а у кого-то меньше. И только с появлением дуста проблема была решена. Детишки, наслушавшись моих рассказов, подставляли головы с просьбой отыскать и побить вошек. Так же, как когда-то мой дед-выдумщик, я научилась их трескать, зацепив ноготь за ноготь, получалось один к одному, до полного неразличения правды и игры понарошку. И как в языке со временем происходит переосмысление значения отдельных слов, так и события в жизни приобретают иногда совсем иной характер: была у людей напасть, но по истечении десятков лет она превратилась в семейную забаву.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.